

Ольга Денисова

ОДИНОКИЙ ПУТНИК



Ольга Леонардовна Денисова

Одинокий путник

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174355

ISBN 978-5-4474-3038-2

Аннотация

Лешек обладает волшебным даром – его песни берегут людские души. И хотя вырос Лешек в монастыре, он – внук волхва и не станет служить чужому ревнивому богу. Пронзительная история о двоеверии, о победоносном шествии по земле христианства, о последних волхвах и колдунах, убитых, сожженных, стертых с лица земли вместе с их книгами, их Знанием, их «сказками о богах» и «мудростью волшебной».

Содержание

1	5
2	9
3	14
4	17
5	22
6	26
7	38
8	50
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Одинокий путник

Ольга Леонардовна Денисова

*И уходит где-то в направление юга
Одинокий путник в январе холодном...*
Ё-вин (Лина Воробьева)

© Ольга Леонардовна Денисова, 2015

© Ольга Денисова, дизайн обложки, 2015

Редактор Елена Липлавская

Корректор Елена Липлавская

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru

1

Ветер дул с севера – ледяной, резкий, он принес с собой колючую снежную крупу и дышал жестоким холодом. Лес выл под его ударами, трещал сорванными сучьями и швырял их на лед реки. Тучи неслись по небу, как кони от степного пожара, меж ними мелькала полная луна, от чего по земле бежали мрачные тени. Во тьме мерещились зловещие крики, хохот, рычание, конский топ и ржание огромных коней, под копытами которых дрожит земля.

Лешек шел и улыбался. И если сначала его била крупная дрожь – не от страха, от возбуждения, – то теперь ее сменила невероятная легкость. Пожалуй, он был счастлив. Он не хотел думать о том, сколько ему придется пройти, имея два стакана пшена и огниво. Он не хотел думать о холоде, пронизывавшем его полушубок, о ветре, обморозившем лицо и руки, которые он старательно втягивал в узкие рукава, о поземке, заметающей наезженный санный путь, об одиночестве и голодных волках, которые, наверное, наблюдают за ним из леса.

Он не знал, который час, а рассмотреть звезды сквозь обрывки туч не успевал. Судя по тому, как повернулась луна, он шел около пяти часов, а это значит, что в монастыре уже проснулись и обнаружили его исчезновение. А если они заметили пропажу крусталь, то, возможно, и снарядили погоню. И от этого ему вовсе не было страшно, наоборот, ему хотелось, чтобы Дамиан понял, кто унес крусталь, чтобы он топал ногами и орал на всех, кто подворачивается ему под руку, размахивал плетью и скрипел зубами от злости. И мысль эта заставляла Лешека улыбаться еще шире.

Ветер дул ему в спину.

Между тем архидиакон Дамиан, ойконом Усть-Выжской Пустыни, вовсе не топал ногами, не орал, а разве что скрипел зубами. Если авва узнает о том, что крусталь исчез, был украден, то, пожалуй, виноватым окажется сам Дамиан, если не успеет изловить вора.

По своей сути Дамиан был так же далек от служения Богу, как авва – от потворства блудницам, и, наверное, поэтому так и не получил сана иерея, но, волею судьбы оказавшись в монастыре, сумел высоко подняться и здесь. От приютского мальчика до бесправного послушника, от новонаначального до настоятеля приюта – к сорока пяти годам Дамиан добрался до вершины и стал, по сути, воеводой Пустыни. Хотя должность эта и называлась по старинке «ойкономом», на плечах его в первую очередь лежала забота о силе монастыря, охрана его рубежей, расширение земель и лесов, приносящих обители доходы. И если пришлые разбойники опасались трогать хорошо укрепленный монастырь, то постоянные стычки с людьми князя Златояра заставили авву согласиться на содержание дружины, монахов-воинов, хорошо вооруженных и обученных.

Монастырь стал тесен Дамиану, подниматься выше было некуда (а он отлично понимал, что аввой ему не стать никогда), оставалось только расти вместе с монастырем, что вполне устраивало авву, из соперника превращая в союзника. Не то чтобы отец-настоятель мог поколебать достигнутое Дамианом могущество, но выступить против него в открытую означало ни больше ни меньше разрушить Пустынь, превратить ее из монастыря в мелкое княжество, а этого Дамиан не хотел, во всяком случае пока: монастырский устав с его жесткими законами, иерархией, послушанием позволял править им не задумываясь о настроях насельников.

Крусталь примирял честолюбие Дамиана и стремления аввы, они оба нуждались в нем, каждый по-своему, и его исчезновение означало возвращение к давнему противостоянию, в котором Дамиану не суждено было взять верх.

Он обнаружил пропажу сразу, едва слышал било, созывавшее братию на службу. Сам Дамиан давно получил разрешение молиться в своей келье, и только тогда, когда появляется время, свободное от многочисленных праведных трудов на благо обители, однако он привык вставать рано, поэтому просыпался зачастую задолго до подъема братии.

Сундучок был открыт, как будто вор хотел, чтобы исчезновение крусталя заметили немедленно. А может, побоялся щелкнуть замком еще раз. А может, просто забыл, по глупой неопытности.

Робкий стук в тяжелую дверь просторной светлой кельи заставил Дамиана вскочить и захлопнуть крышку сундучка – посторонним незачем знать о пропаже.

– Кого там принесла нелегкая? – проворчал он себе под нос. – Входи!

Благочинный – разжиревший на доходах Пустыни иеромонах – робко сунул пуговичный нос в шелку: Дамиана побаивались все, зная о его крутом нраве и привычке впадать в ярость по пустякам. Дамиан же терпеть не мог толстяков, особенно мелких ростом. Сам он был сухощав (хотя и прикладывал к этому немало усилий), высок и широк в плечах.

– Доброго здравия, отец Дамиан, – тихо, с придыханием начал благочинный. – Я бы не решился тебя потревожить с таким пустяком, но, зная твою щепетильность в подобных вопросах...

Дамиан поморщился:

– Зайди и закрой двери.

Благочинный снова кивнул, шумно сглотнул и с усилием прикрыл тяжелую дверь.

– Я бы не стал... но такого у нас давно не случилось...

– Ну?

– Ушел послушник Алексей, певчий, тот, которого ты привез два месяца назад... Ну, которого похитил колдун и...

– Я понял, – грубо оборвал Дамиан. – Куда он ушел?

– Я... Я не знаю. Он ушел из Пустыни.

– Как? Куда он мог уйти? Что ты несешь?

– Вот, – благочинный протянул клубок тряпок.

– Что это? – Дамиан поморщился.

– Его вещи. Переоделся в мирское и ушел. И сказал, что ни секунды здесь больше не останется. – Благочинный перешел на шепот: – Он сорвал крест...

– Ты понимаешь, что говоришь? Куда он уйдет? Январь! Кругом лес, за окном метель, он заблудится и замерзнет еще до рассвета! И где он взял мирскую одежду?

– Украл у келаря, наверное...

Дамиан, разумеется, помнил послушника Алексея, которого два месяца назад нашли и вернули в монастырь после восьмилетнего отсутствия. Лешек – заблудшая душа, Лешек – дар божий. И за его волшебный голос еkkлесиарх, старенький отец Паисий, прощал ему заблудшую душу, равно как и все остальные прегрешения. Высокий, худенький, этот Лешек более всего напоминал отрока, хотя от роду ему было что-то около двадцати – он всегда выглядел моложе своих лет, Дамиан запомнил его еще в приюте. Тот и ребенком отличался от сверстников, простеньких крестьянских мальчиков, чем уже тогда приводил Дамиана в раздражение: мальчик вызывал у него странный подспудный страх, непонятное стремление спрятаться от взгляда его огромных светлых глаз, как будто укорявших в чем-то. Глядя на это дитя, Дамиан испытывал чувство вины, и, наверное, именно поэтому его преследовало желание запугать, заставить опустить глаза, пригнуть голову мальчика к земле... Только от чувства вины это не спасало – по сравнению с другими приютскими детьми тот и так был запуган без меры, потому что отставал от сверстников по росту, и нравом обладал слабым, сломать который ничего не стоило.

В детстве певчий напоминал кутенка, сосущего молоко из брюха матери: младенческие безвольные чуть приоткрытые губы; бесхитростные, как у гукающего грудничка, движения тонких пальчиков, постоянно что-то перебиравших; продолговатая ямочка на подбородке, которую мальчик все время пытался разгладить рукой; узкие плечи, которые Дамиан мог полностью покрыть ладонью. Взгляд, всегда удивленный, из-под длинных, загнутых вверх ресниц стремился куда-то вдаль, и по гладким волосам цвета зрелого каштана так и тянуло провести рукой.

Лешек – дар божий... В придачу к никчемно-умилительной внешности отрок имел поистине ангельский голос. Гости монастыря (а среди них попадались богатые и влиятельные люди) таяли от его пения и пускали сладкие сопли. Что говорить, и сам Дамиан, слушая волшебный голос ребенка, чувствовал, как нежно ломит грудь и как обрывается дыхание и влажные глаза поднимаются к куполу церкви... И это тоже приводило архидиакона в бешенство: ему казалось, что не он, тогда настоятель приюта, имеет полную власть над приютским мальчиком, а тот владеет его душой. А этого Дамиан вынести не мог.

Пустынь не имела ни одной из святынь, являвших миру чудеса: ни исцеляющих мощей, ни целебных источников, ни чудотворных икон. Хотя богомаз был, и неплохой, а иконы его украшали церкви не только на землях монастыря, но и далеко за их пределами, однако ни одна из них не мироточила, не помогала от болезней, не спасалась сама собой от пожаров – в общем, никаких волшебных странностей не обнаруживала.

Но, несмотря на это, Пустыни было чем привлечь знатных гостей: монастырь славился своим хором. Его наставник – еkkлесиарх Паисий – обучался на Атоне и сам когда-то обладал хорошим голосом, но, главное, умел найти способных учеников, обучить их крюковой грамоте, поставить голос: пел его хор чисто, слаженно и красиво. Настолько красиво, что послушать его приезжали из самого Новограда, и из Удоги, а однажды – и из далекого Оленца. И, конечно, оставляли серебро!

В детстве отрок Алексей был украшением хора, его жемчужиной, и когда обитель потеряла его, ничто не могло утешить еkkлесиарха. Но с тех пор как Пустынь обрела его снова, Паисий, убедившись в том, что сломавшийся голос не утратил волшебной силы, ходил счастливым; Дамиан же рассчитывал с его помощью приобрести для монастыря сильных покровителей.

Послушника забрали у колдуна вместе с хрусталем.

– Келаря ко мне, и очень быстро! – выплюнул Дамиан благочинному в лицо. – И певчих, и послушников, которые видели, как он уходил.

– Всех? – присел благочинный.

Дамиан прикинул и кивнул:

– Самых толковых. Человек пять, не больше. Только очень быстро. И... не надо чесать языками!

– Я понимаю, я только тебе...

– Да ты-то только мне, а остальные? Лишние разговоры пресекать!

– Понял...

Ну как эта мокрая курица будет пресекать разговоры? Вот когда сам Дамиан был благочинным, никто не смел ослушаться приказа. Потому что каждый знал: его сосед по келье может первым доложить об этом многочисленным помощникам архидиакона.

Через полчаса, вытряхнув душу из доверчивого келаря и отупев от допроса безголовых певчих, Дамиан спустился во двор, с удовольствием вдохнул свежий морозный воздух и направился к сторожевой башне. Еще не рассвело, но ветер потихоньку стихал: день обещал быть солнечным и холодным.

И этот щенок посмел! Он посмел войти в келью к спящему ойконому, открыть дверь, мимо которой и благочинный проходил на цыпочках! Он обманул келаря, сказав, что за одеждой его послал отец Паисий. И тот поверил! Потому что никто из насельников не решился бы на обман, и келарю в голову не могло прийти, что парень нагло лжет!

И ни один из послушников не побежал докладывать об его уходе, ни один! Ну, это на совести благочинного, с ними со всеми придется разобраться отдельно.

Щенок, мальчишка! Дамиан не ожидал такого поступка, и от кого? От жалкого певчего, труса и слюнтяя, который два месяца ходил втянув голову в плечи, радуясь, что его не убили вместе с колдуном. Такого не случалось никогда, с тех пор как Пустынь встала на берегу Выги! Да, кто-то уходил, и уходил тайно, но летом, летом, не зимой! И уж тем более не прихватывал с собой монастырского добра. И не срывал креста на глазах двадцати человек, и не произносил речей, от которых послушники теряли голову. Как же можно было так ошибиться? Пригреть змею на груди? Это все Паисий – он взял мерзавца под крыло!

Дамиан со злостью распахнул дверь в трапезную сторожевой башни (с некоторых пор его собственная «братия» начала и трапезничать отдельно от остальных монахов). За столом дремал только один дружник, в грязном подряснике, подложив скомканный клубок под щеку. Дамиан покрепче хлопнул дверью, не желая тратить время на выволочки: понятно, что вчера братья пили и вели непристойные беседы чуть не до самого утра.

– Всех сюда, быстро... – прошипел Дамиан сквозь зубы, когда проснувшийся монах вскочил на ноги.

Может быть, они были не дураки пожрать и выпить, но по приказу ойконома умели действовать без промедления: не прошло и двух минут, как молчаливые воины-монахи, мрачные с похмелья, расселись за столом.

– Сегодня ночью Пустынь покинул послушник Алексей, Лешек – заблудшая душа, – тихо начал Дамиан, – он ушел и унес принадлежащую мне вещь, очень важную для обители вещь. Перед уходом он сорвал крест и произносил богохульные речи перед другими послушниками. Найти мерзавца. Любой ценой. И притащить сюда. Живым.

Братья многозначительно переглянулись, но не произнесли ни слова – ни удивления, ни вопросов не было на их лицах, и Дамиан в который раз порадовался, каких славных воинов ему удалось выпестовать своими руками. Многие из них стали его дружиной, будучи приютскими мальчишками, многие пришли в Пустынь послушниками, некоторых (лучших) он сам привел со стороны, соблазнив сытой жизнью в стенах монастыря.

– Следы вокруг обители наверняка замело, но в лесу их можно отыскать, – продолжил архидиакон, усевшись во главу стола, – но если он не дурак, в чем я сильно сомневаюсь, он пойдет по реке, это его единственная возможность выжить. Поэтому разделитесь, пусть большинство двигается на север, обыскивает озеро и лес, а небольшой конный отряд сторожит Выгу и деревни. Разошлите гонцов в скиты и на заставы. Если он не отыщется сегодня, завтра искать придется слишком долго и далеко.

– Да он наверняка замерз в лесу или замерзнет в ближайшие часы! – усмехнулся брат Авда, старший в башне. Он один из немногих должен был понять, какую вещь унес с собой послушник.

– Значит, вы найдете его тело и принесете сюда, – кивнул Дамиан. – Наказать мерзавца было бы полезно, но мне нужна украденная им вещь гораздо больше, чем он сам.

2

На рассвете ветер стих, в воздухе зазвенел мороз, и выбеленный небосвод словно покрылся инеем. От холода захватывало дух, лес замер и вытянулся по струнке, скованный стужей, лед потрескивал под ногами, и иногда от этого становилось страшно – Лешек без труда представлял себе глубокую черную воду, и сосущее течение, и саженную корку льда над головой.

Он сильно озяб и подозревал, что обморозил лицо и пальцы. Иногда он растирал лицо рукавами, но только напрасно сдирал кожу: заиндевелый волчий мех на отвороте не согревал, а царапал. Поначалу он еще дышал на руки, но потом отказался от этого: они обветривались, но не согревались. Теперь же Лешеку казалось, что дыхание его остыло и выдыхает он точно такой же морозный воздух, какой и вдыхает.

Надо было уходить с реки в лес: при свете дня его увидят издалека, а конные нагонят его так быстро, что он не успеет как следует спрятаться. Странно, но погони Лешек не боялся, и легкая улыбка все еще играла на обветренных губах. Будто его страх, вечный страх, остался в монастыре, будто он скинул его с себя вместе с ненавистным подрясником, сорвал с шеи вместе с крестом.

Лешек огляделся: лес стоял по обоим берегам реки, но один берег был крутым, а другой – пологим. На пологом берегу его скорей начнут искать, зато, поднимаясь на крутой, он не сможет замести следы. В конце концов он выбрал пологий берег – если погоня обнаружит его следы, то его найдут за час, не больше.

Жаль, что стихла метель. Лешек оглянулся – на санном пути следы его мягких меховых сапог не были заметны, метель сдула с реки снег, уложив его валиком на берега. Конечно, следы можно было разглядеть, и тот, кто станет его искать, несомненно их увидит. Он вздохнул и прошел по собственному следу назад, прошел довольно далеко, с полверсты. Теперь они точно не найдут того места, где он углубится в лес.

Засыпать глубокие дырки от сапог на берегу оказалось тяжелее, чем он думал: снег набился в рукава, и заломило запястья. Самое обидное, что за ним все равно оставалась широкая полоса потревоженного снега, которую при желании можно разглядеть, как бы тщательно он ее ни заравнивал.

Лешек только-только добрался до первых елей с толстыми стволами, когда услышал глухой стук копыт. Сердце упало, он присел и постарался слиться с серой корой дерева. Но, на его счастье, кто-то проехал мимо в сторону монастыря – на санях, запряженных парой коней, с молодецким гиканьем и свистом. Из-под полозьев во все стороны летела легкая на морозе снежная пыль, и Лешек выдохнул: теперь его следов точно не увидят, напрасно он шел назад. Удача снова тронула губы улыбкой.

Он зашел в лес довольно далеко – при свете солнца невозможно заблудиться. Сначала он собирался идти вдоль реки вперед, но пришлось отказаться от этой мысли: сугробы кое-где доходили ему до пояса. Но и остановиться на несколько часов было опасно: мороз убьет его, как только он перестанет двигаться. Оставалось лишь разжечь костер и отогреть наконец лицо и руки. Высушенные морозом дрова будут гореть бездымно; что-то, а костры Лешек разжигать умел. Он без труда нашел подходящую валежину и только потом сообразил, что топора у него с собой нет. Пришлось ломать сухие сучья непослушными руками.

Прозрачный, почти невидимый огонь жарко разгорелся за несколько минут, сжигая ветки со сказочной быстротой. Лешек протянул к нему тонкие посиневшие пальцы, и вскоре к ним вернулась чувствительность. Пришлось перетерпеть боль: ему казалось, что любой звук разнесется по лесу на несколько верст. Однако руки отогрелись, загорелось лицо, и мучительно потянуло в сон.

Есть Лешек не хотел – слишком сильное волнение всегда перебивало голод, поэтому пшено он решил побережечь. Чтобы не уснуть, он наломал еще сучьев, на этот раз потолще, пожевал еловую ветку и пососал снег – можно ничего не есть несколько суток, но пить и жевать еловую хвою при этом надо обязательно, так научил его колдун.

Если он уснет, то костер погаснет через полчаса. И даже если он зароется в снег, как это делают на морозе собаки, то все равно может замерзнуть.

* * *

Лешек попал в Усть-Выжскую Свято-Троицкую Пустынь, едва ему исполнилось пять лет. Между тем, он хорошо помнил свое детство. Помнил мать – сначала молодую, веселую, румяную, а потом в одночасье состарившуюся от болезни. Помнил ее прозрачное лицо с синевой на щеках, тонкие руки, обнимающие его за шею, губы, целующие его лоб. А вот отца и деда он помнить не мог – их убили, когда ему не было и года.

Через много лет, передавая колдуну рассказы матери, Лешек узнал, что дед его был знаменитым волхвом Велемиром; им и его сыном князь Златояр когда-то откупился от церковников. Дом сожгли, и они с матерью прятались у чужих людей, переходя из деревни в деревню. Голод, горе, несложившийся быт подкосили ее, и первая же лихорадка высосала из нее жизнь. Лешка отдали в приют, к монахам, не желая связываться с хлипким, болезненным мальчонкой, который никогда бы не стал в семье хорошим работником.

Монахи тоже не обрадовались этому приобретению. Из приюта для подростков воспитанников вели два пути – стать послушником или поселиться в какой-нибудь деревне, которые во множестве были разбросаны по монастырским землям, и платить монастырю подати, размер которых с каждым годом становился все больше, не оставляя возможности выбраться из нищеты. И какой из этих путей выбрать, каждый решал для себя сам.

Любой послушник мечтал стать монахом, однако большинство из них доживали до старости, так и не добившись пострига. Зато те, кому это удалось, превращались в «белую кость» монастыря – их ждала сытая, безбедная жизнь и необременительный труд. Послушники же, еще более бесправные, чем слободские крестьяне, выполняли и черную работу при монастыре, и пахали землю, которую монастырь еще не роздал под крестьянские наделы.

Лешек не годился ни для того, ни для другого. И только когда обнаружился его чудесный голос, который монахи упорно называли божьим даром, они смирились с его существованием. Он один из немногих мог быть уверен в том, что из послушника превратится в монаха очень быстро, а возможно, когда-нибудь получит духовный сан.

Его обучали грамоте, но этим и исчерпывалась разница между певчими и остальными приютскими детьми. Лешек вспоминал семь лет в приюте с содроганием: с первого до последнего дня эта жизнь казалась ему кошмаром.

Его не любили воспитатели за его странную повадку – слегка отстраненную, что со стороны казалось надменностью, а может, ею и была. Они хором твердили о «грехе гордыни» и смирении, но в те времена он их не понимал. Он так и не привык к побоям и всегда думал, что непременно умрет, когда его будут сечь, но так и не умер, только всегда долго плакал, не столько от боли, сколько от унижения. Страх перед розгой не делал его умней и осторожней – он просто не понимал, почему все вокруг стремятся его уязвить, и хотел стать хорошим, но не знал как. Мир казался ему несправедливым и непонятным.

Его не любили сверстники, завидуя его исключительному положению даже среди певчих, и при каждом удобном случае старались либо расправиться с ним самостоятельно, либо свалить на него вину за свои прегрешения. Он не пытался им понравиться, держался особняком, вызывая еще большее озлобление. А при его хрупком сложении перед сверстниками он был беззащитен.

По ночам, свернувшись клубком под тонким одеялом и дрожа от холода, Лешек думал о маме. Он, конечно, знал, что она умерла – об этом ему частенько напоминали воспитатели, – но не вполне понимал, что это значит. Он воображал, как она приходит в спальню, садится на кровать рядом с ним, обнимает его и целует. Иногда эти мысли согревали его и утешали, а иногда заставляли тихо и безысходно плакать, зажимая рот подушкой, чтобы никто не услышал, как он иступленно шепчет себе под нос: «Мамочка, приди ко мне, пожалуйста! Приди только на минутку!» Мама любила его, гладила по голове, понимала с полуслова и жалела. Лешек даже не думал о том, что она может защитить его или просто забрать из этого мрачного, холодного места – так далеко его мечты не простирались. Возможно, допусти он такую мысль хоть раз, и безнадежность свела бы его с ума. Нет, о таком он мечтать не смел – ему хотелось лишь, чтобы его пожалели и приласкали. Поэтому в грезах он и пересказывал ей свои горести и представлял, как мама прижимает его к себе и шепчет ласково: «Мой бедный Лешек».

Он был бесконечно одинок, и его первые попытки сблизиться с кем-то из ребят всегда заканчивались плачевно: если его и принимали в игру, то лишь для того, чтобы насмеяться, оставить в дураках или заставить плакать. Став постарше, Лешек понял, что таковы были правила игры: и смеялись, и оставляли в дураках, и доводили до слез не только его одного. Но лишь он один сдавался и бежал от таких игр, бежал сам, когда его никто не гнал. В конце концов он оставил попытки подружиться со сверстниками, замкнулся в себе, и всякое приглашение к игре испуганно принимал в штыки, чем настраивал ребят против себя еще сильнее, пока окончательно не превратился в изгоя, довести которого до слез считалось не только не зазорным, но и в некотором роде почетным. И если сначала ему было скучно, то потом – страшно и стыдно.

Он ходил, стараясь слиться со стенами, и в спальне забивался под одеяло, чтобы лишний раз не попасться кому-нибудь на глаза – тому, кто не знает, чем сейчас заняться, и найдет развлечение в том, чтобы немного его помучить. Лешек был гадок самому себе, противный страх сковывал его с головы до ног, если кто-то заступал ему дорогу или стаскивал с него одеяло. Он не был способен даже на то, чтобы разозлиться, и неизменно мямлил и просил его не трогать.

Но мама, которой Лешек откровенно поверял свой ужас и свою унижительную беспомощность, в его воображении никогда не осуждала его, напротив, утешала и объясняла его слабость понятными и простительными причинами. С ней он говорил о своих мыслях, далеких от окружавшей его жизни, пел ей песни и рассказывал трогательные истории, которые придумывал сам.

Только через три года его жизнь изменилась к лучшему – в приюте появился десятилетний Лытка, крещенный Лука. У него обнаружился слух, и волею отца Паисия паренька определили в певчие, однако он оказался таким крепким, здоровым парнем, что и тринадцатилетние ребята побаивались его задирать. В приюте старшие редко обращали внимание на младших, но Лытку, как показалось Лешеку, уважали и совсем большие ребята.

Лытка не стремился к верховодству, но всякая несправедливость вызывала в нем бешенство, и он восстанавливал ее при помощи увесистых кулаков. Он не собирал вокруг себя «своей» ватаги, но его уважали, к нему тянулись, и очень быстро получилось так, что приют зажил по новым порядкам, и по этим порядкам никто не смел обижать маленького Лешека. Лытка привязался к нему, как к родному братишке, сначала просто оказывая покровительство, а потом, сойдясь поближе, начал смотреть на Лешека снизу вверх, находя его не только способным, но и необыкновенно умным.

Сам Лытка обладал практичным крестьянским умом, но мог бесконечно слушать несмелые рассуждения Лешека об устройстве мира и людей. Лешек с легкостью рассказывал, о чем шепчутся между собой звезды, когда их никто не слышит, что думает трава, когда

ее косят, о чем мечтают лошади. И очень смешно изображал монахов: это развлечение полюбил не только Лытка, но и другие ребята. Они залезали в сарай с сеном и смотрели в щелки на проходивших мимо воспитателей и других взрослых.

– Во, толстый Леонтий! – шептал Лытка. – Чего он делает?

– Он ищет, чего бы съесть, – с готовностью сообщал Лешек, стараясь Леонтия изобразить, – он всегда думает только о еде и больше всего на свете любит свое пузо!

Мальчишки прыскали в кулаки, а Лытка искал следующую жертву.

– Старый Филин просто не знает, чем заняться. Но боится завалиться спать, потому что тогда ему влетит от Дамиана.

Лешек показывал, как Филин хлопает глазами и подозрительно смотрит по сторонам, будто хочет что-то украсть.

– Отец Паисий! Давай, Лешек!

– Нет, я не хочу, чтобы вы смеялись над Паисием! Он добрый, он слышит музыку.

Лицо его само по себе приобретало мечтательное выражение отца Паисия, и мальчишки все равно смеялись, потихоньку, ибо (как говорилось в уставе) «душе, изливающейся в смехе, легко отпасть от своего гармонического состава, оставить попечение о благе и еще легче впасть в дурную беседу» – смех не считался в монастыре добродетелью.

Лешек расцветал, когда все на него смотрели и все его слушали, и, наверное, чувствовал себя счастливым. Он быстро забыл обиды и простил тех, кто совсем недавно не давал ему прохода, да и ребята перестали считать его ничтожеством – Лытка заставил их уважать Лешека и ценить.

Лытка был первым, кому Лешек осмелился петь свои песни. Они настолько потрясли крестьянского мальчика, что он требовал Лешека петь их снова и снова, а потом предложил послушать их и другим ребятам. Собственно, ничего особенного в тех песнях и не было, Лешек пел о том, что видел вокруг, – о небе, о земле, о монастыре, но когда замолкал, не раз замечал, что на лицах мальчиков блестят слезы.

Лешек же смотрел Лытке в рот: он боготворил своего друга, восхищался каждым его словом или жестом, считал его героем и посвящал ему песни. Множество раз Лытка спасал его от наказания, принимая на себя вину и подставляясь под розги. Лытка относился к наказаниям с легкостью, никогда не плакал, терпел молча, даже если секли как взрослых, по спине (чем вызывал у Лешека еще большее восхищение).

Его пение однажды услышал толстый Леонтий, и как назло, песня была малопристойной – о ненавистной воскресной службе (в песнях Лешека монастырь всегда рисовался черной краской). Никакие увещания Лытки на этот раз не помогли – Лешека наказали очень жестоко, и, как бы ему ни хотелось быть похожим на друга, он все равно не смог удержаться от криков и слез, а потом целую неделю лежал на животе и плакал, когда его никто не видел. И, хотя его посадили на хлеб и воду, Лытка умудрялся утащить из-за стола что-нибудь вкусненькое для него.

– Лытка, я такой слабый... – сокрушался Лешек, жуя яблоко или морковку, – я так хочу быть таким, как ты.

– Чепуха! Ты не слабый. Просто у тебя кожа тонкая и косточки торчат. А у меня – потрогай – спина, как рогожа.

Лешек трогал его мускулистую спину и снова восхищался.

– Зато ты поешь песни... – вздыхал Лытка.

– Лучше бы я не умел петь, – Лешек снова готов был расплакаться и удерживался только из гордости.

– Чепуха! Мы просто будем осмотрительней, чтобы никто тебя не слышал!

Но с тех пор Лешек боялся петь и соглашался на уговоры, только если кто-то из ребят вставал под дверь. А главное – не получал от этого настоящего удовольствия, не позволяя голосу развернуться в полную силу.

3

Голова упала на грудь, и Лешек понял, что задремал, только проснувшись от этого неожиданного толчка. Костер потух, но холода не чувствовалось, и Лешек испугался: да он чуть не замерз!

Он набрал еще сучьев, хотя надобности в них не было, – просто так, чтобы двигаться. Тепло от огня на этот раз вызвало озноб: Лешек кутался в полушубок и согреться не мог. Придвигаясь к костру, он чуть не прожег сапог, а это стало бы настоящим бедствием: сейчас он хотя бы не боялся отморозить ноги. Эти сапоги сшил ему колдун, ни у кого таких не было – теплые, удобные и легкие, не то что лапти, которые он оставил в монастыре.

Тягучее время ползло медленно, солнце не дошло и до полудня: идти оказалось гораздо легче, чем сидеть, пусть и у костра. Почему-то на ходу мысли текли легко и увлекательно, песни складывались сами собой, а сидя Лешек не замечал ни красоты заснеженного леса, ни прозрачной голубизны небес.

Он представил себе, как его ищут, как по реке туда-сюда верхом снуют монахи, как бесится сейчас Дамиан, и снова улыбнулся. Это здорово – не чувствовать сомнений и страха. Даже если он замерзнет здесь, в лесу, они все равно не найдут его и никогда не получат крусталья. И Дамиан это понимает.

Волк вышел из леса неожиданно – он не мог подобраться к Лешеку со спины, потому что сзади его закрывал высокий сугроб и ствол елки, волку пришлось подходить сбоку, и Лешек уловил его движение боковым зрением.

Это был волк-одиночка, от голода и отчаянья не побоявшийся приблизиться к огню: Лешек много лет прожил в лесу и поведение зверей изучил хорошо. Однако голод и отчаянье – хорошие помощники на охоте, и если зверю нечего терять, он не остановится.

Лешек осторожно потянулся к костру и взялся рукой за сук, не успевший догореть до основания. Волк смотрел на него внимательно, не мигая, и не двигался. Лешек тоже замер: первый испуг прошел, и теперь он старался придать взгляду убедительную твердость. Наверное, ему это удалось, потому что волк повернул голову в сторону и приподнял верхнюю губу, что означало явный отказ от поединка – у меня есть клыки, но драться я не хочу. Что-то вроде последней попытки напугать: уверенный в себе зверь клыков показывать не станет, он начнет их применять без предупреждения. Лешек дожал его, продолжая смотреть не мигая еще с минуту, и волк в конце концов сдался – развернулся и ушел в лес, опустив хвост и голову.

Сук тлел в руке, растревоженный костер погас, и пришлось раздувать его, поднимая вверх легкие хлопья пепла. Один волк – это не опасно, Лешек знал, что справится с ним и в открытой схватке. Но если зверей будет хотя бы двое...

* * *

Отец Паисий однажды вызвал его к себе. Лешек удивился и испугался: Паисий никогда не приглашал в свою келью приютских детей. Жилище иеромонаха было роскошным: широкое ложе под пологом, дубовый стол с разложенными на нем пергаменами, высокая каменная печь, огромный резной сундук, обитый горячей медью... Лешек оробел на пороге и не смел через него переступить. Он искренне любил Паисия и теперь боялся какого-нибудь подвоха, который разрушит эту любовь.

– Ну что ты испугался? – ласково улыбнулся ему иеромонах. – Заходи и садись. Только закрывай двери.

Он указал на низкую скамеечку возле ложа, на котором сидел сам.

Лешек еще раз восторженно осмотрел келью и перешагнул через порог.

– Садись, дитя, не бойся. Я слышал, ты поешь ребятам песни?

Лешек обмер и замотал головой, от страха не в силах вымолвить ни слова. Все равно подслушали! Как Лытка ни убеждал его в том, что охрана надежна, их все равно подслушали! На глаза навернулись слезы и потекли из глаз крупными каплями.

– Что ты, дитяtko? – Паисий поднялся и усадил Лешака на скамеечку, поглаживая по голове. – Что ты плачешь?

– Нет... Это не я... – сумел выговорить Лешек, – я не пел, ничего не пел!

– Да не бойся же, я не собираюсь тебя за это наказывать.

Но Лешек не поверил ему: наверняка иеромонах просто прикинулся добрым, чтобы выведать у него эту тайну, вырвать признание. Но кружка подслащенной воды и просвирка, которую обмакнули в мед, немного Лешака успокоили – по крайней мере, он перестал плакать.

– Я обещаю, что ничего плохого тебе не сделаю и никому не расскажу о нашем разговоре, – Паисий присел на колени перед Лешаком, чем сильно его смутил и растрогал: теперь слезы готовы были хлынуть из глаз от теплых чувств к иеромонаху, – я просто хочу услышать, что за песни ты поешь. Только и всего.

– Тебе не понравится, – вздохнул Лешек.

– Откуда ты знаешь?

– Знаю.

– А ты попробуй. Выбери что-нибудь подходящее.

И тут Лешек вспомнил, что у него есть одна песня, которую он сочинял, думая именно о Паисии. Конечно, ничего о монахе в ней не было, просто Лешек о нем думал, когда ее сочинял. Он помялся немного, теперь просто смущаясь и волнуясь (вдруг песня окажется недостаточно хороша?), но все же запел, на этот раз позволяя голосу литься так, как хочется. В этой песне соловей свил гнездо на хорах церкви, и, когда пришла пора служить всенощную на Пасху, ему не позволили петь, а гнездо выбросили в окошко.

Паисий слушал его со странным выражением лица: наклонив голову и широко открыв глаза. Брови его поднимались все выше, и в конце, на самом красивом месте, где соловей видит разрушенное гнездо, Лешек заметил слезы в его глазах.

Иеромонах долго молчал, и Лешек было снова испугался, но тот погладил его по плечу и тихо попросил:

– Спой мне еще что-нибудь.

Дело в том, что Лешек очень любил петь. Он мог делать это бесконечно, даже если его не слушали. А когда слушали, он испытывал небывалое ликование и ему было трудно остановиться. И он спел монаху про старую собаку, которая живет у сторожевой башни, и про облака, которые ветер гонит по небу, куда ему вздумается. И еще – про кузнечика, и мрачную песню про темную келью схимника. Про схимника он, наверное, пел напрасно, потому что никакого восхищения его подвигом в песне не было, только страх перед чернецом, запертым в своем добровольном заточении.

– Послушай, а что ты думаешь о Боге? – спросил его Паисий.

Лешек пожал плечами и честно начал читать «Символ веры», но иеромонах быстро его перебил:

– И больше ты ничего сказать не можешь? Кроме того, что тебя заставили вызубрить наизусть?

Лешек снова пожал плечами: бог представлялся ему черной тучей, готовой в любую секунду выпустить молнию, которая поразит его, если Лешек чем-то этой туче не понравится.

– Может быть, ты можешь спеть? – предложил иеромонах.

Лешек подумал немного и спел о туче и немного о страшном суде и мучениях грешников. Но, видно, что-то в этой песне Паисию не понравилось: он стал хмурым и задумчивым. Да что говорить, так себе получилась песня...

После этого случая Паисий каждую неделю приглашал Лешека к себе и рассказывал ему истории из Благовеста, может быть, немного не так, как они были там записаны. И все надеялся, что Лешек сможет об этом спеть. Но сердце Лешека молчало – в этих рассказах он видел совсем не то, чего хотелось иеромонаху. Он спел песню про шелковицу, на которой уродились плохие плоды, и шелковица представлялась ему почему-то сливой с зелеными ягодами. И ему было очень жалко эту сливу, потому что никто не ест ее плодов. А из Угорской проповеди получилась песня о плаче, который ничто не утешит. Грустная получилась песня.

Нет, иеромонах хотел совсем не этого, но Лешек не понимал, чего он хочет, – его душа оставалась глухой к подвигам Иисуса, он не воздал должного даже распятью и честно признался: если бы на месте Христа оказался Лытка, он бы не позволил так над собой издеваться, а прямо бы сказал, что жить нужно по правде и по-честному. И все бы ему поверили. И семью рыбами он накормил бы весь мир до самого конца света, чтобы никому не пришлось голодать.

В любовь Иисуса Лешек не верил. Если Иисус любит людей, то почему не сделает их счастливыми? Просто так, ни за что. Почему в рай он берет только тех, кто не грешит? Лешек был уверен, что ни в какой рай его не возьмут: судя по проповедям, получалось, что грешит он на каждом шагу и не подозревает об этом.

Надо отдать должное иеромонаху – он был терпелив. Но, видно, всякому терпению приходит конец, и Паисий отказался от своего замысла: Лешек продолжал петь в церковном хоре, тщательно выводя слова и мелодии тропарей канона и стихир. Впрочем, и этого хватало: и монахи, и гости от его пения начинали часто дышать и проливать слезы. Только это были не те слезы, которые хотел вызвать у них Паисий.

С тех пор с легкой руки иеромонаха к Лешеку приклеилось прозвище «заблудшая душа».

4

Короткий зимний день склонился к закату, и Лешек решил пробираться поближе к реке: когда сядет солнце, он легко потеряет нужное направление. Зимой солнце садится быстро, и темнеет в лесу сразу: недолгие серые сумерки оборачиваются светлой, снежной ночью.

Лешек осторожно засыпал костер и спрятал в сугроб наломанные сучья, которые не успел сжечь, пососал еще немного снега и пожевал еловой хвои – только теперь от этого захотелось есть. Он сунул руку в карман и набрал горстку пшена: мелкая крупа противно скрипела на зубах, жевать ее было неудобно, но ничего лучшего все равно не нашлось, и Лешек радовался тому, что есть. На ходу глотая непрожеванную пшенку, он добрался до реки и осторожно выглянул из-за деревьев.

К ночи снова завыл ветер, но не так, как накануне, а тихо и протяжно, словно голодный волк. По реке неслась поземка, и если в лесу стало совсем темно, то на открытом пространстве все еще сгущались сумерки – мрачные зимние сумерки, неуютные, бескровные, унылые, сжимающие сердце беспомощной тоской. И в вое ветра Лешеку почудилось чье-то рыдание, тонкое и жалобное.

Поземка то прижималась к земле, то взлетала вверх, свивалась маленькими воронками, и снова расстилалась понизу, и бежала, бежала вперед. Лешек плохо видел в сумерках и не сразу заметил двух всадников, двигавшихся в сторону монастыря. Когда они немного приблизились, сомнений не осталось – это дружина Дамиана, монахи-воины. Их клобуки развивались на ветру, как будто у каждого за плечами сидела черная птица с раскинутыми крыльями; полы темных суконных мантий, расстегнутых до пояса, поднимались и опадали в такт движению лошадей – всадники скакали неспешной рысью.

Хорошо, что Лешек не поспешил выйти на лед: его бы сразу заметили. Он подождал, пока всадники проедут мимо, но, к его удивлению, они, добравшись до поворота реки, повернули назад такой же неспешной рысью – монахи несли дозор. И наверняка за следующим поворотом тоже неторопливо двигаются еще двое, а дальше – еще и еще. Лешек сжал губы: так легко, как в первую ночь, ему идти не удастся. Что ж, путь на лед закрыт, значит, надо идти по снегу, вдоль реки. В темноте, под пологом леса они его не заметят, зато он сможет видеть преследователей.

Если бы он догадался об этом заранее, то за день смог бы сплести себе снегоступы – у костра это было бы не так трудно. А сейчас он просто отморозит руки...

Иногда проваливаясь в снег по пояс, он пробирался вперед, только когда монахи ехали к нему спиной, и старался всегда держать их в поле зрения. От ходьбы Лешек быстро согревался, но, стоило ему остановиться, мороз брался за него еще крепче. На его беду над лесом поднялась полная луна и осветила реку лучше, чем сотня факелов: теперь монахи могли заметить его, если бы случайно оглянулись.

Сук треснул под ногой неожиданно громко, и даже свист ветра этого звука не заглушил. Лешек зарылся в снег и замер, задержав дыхание, – монахи остановили лошадей и оглянулись, прислушиваясь, а потом пустились в его сторону. Он спрятал лицо в снегу и сжался в комок – только сейчас он в первый раз подумал о том, что с ним будет, если его поймут.

Лешек не сомневался в том, что Дамиан его убьет и смерть его будет долгой и мучительной. Чтобы другим послушникам было неповадно разбегаться из монастыря. Лешек подумал об этом отстраненно и спокойно: если его поймут, ему надо будет всего лишь с готовностью принять смерть. Гораздо страшней представлялся другой путь: жизнь в монастыре. Его могли ослепить, сделать калекой – Дамиану хватит выдумки навсегда приковать его к обители, чтобы ничего светлого в его жизни больше не осталось. И на этот случай Лешек при-

готовил решение: тогда он умрет сам, по своей воле. Ему нет дела до того, что об этом думает их злобный бог Юга. По всему выходили только мучения и смерть.

Страх не было.

Всадники подъехали к берегу и остановились в нескольких саженьях от Лешека.

– Да это от мороза ветка хрустнула, – сказал один.

– погоди. Я все же посмотрю.

Лешек улыбнулся и расслабился – или его увидят, или не увидят. Ночь, он в тени, снег вокруг рыхлый и... он обмер: следы. Они увидят его следы!

Всадник спешил и направился к лесу – Лешек слышал, как скрипит снег у него под ногами, но вскоре шаги замедлились и стихли:

– Да тут снегу по пояс! Он тут не пройдет! Наверняка давно замерз где-то!

– Помолись, чтобы этого не случилось, – крикнул ему второй.

– Почему?

– Потому что тогда мы будем не верхом прогуливаться по реке, а ползать по пояс в снегу, разыскивая его тело! Дамиан же ясно сказал!

Шаги повернули от берега, монахи сели на лошадь, и вскоре Лешек перестал слышать мерный топот копыт. У него стучали зубы – то ли от волнения, то ли от холода.

* * *

Лешек боялся Дамиана. Всегда. И не он один – настоятеля приюта боялись все: и воспитанники, и воспитатели. И больше всего в приюте боялись его «помутнений», как их называл Леонтий. Этими помутнениями он частенько пугал мальчиков:

– У брата Дамиана от этого случится помутнение! – говаривал он, и иногда бывало достаточно только припугнуть какого-нибудь расшалившегося ребенка тем, что сейчас его отведут к Дамиану и у того случится помутнение, чтобы самый отчаянный шалопай разрыдался от страха и на коленях молил о прощении.

А «помутнения» у Дамиана и вправду случались: на него, особенно после обеда, когда он неизменно пил вино, нападала безотчетная ярость, и, если рядом не находилось кого-нибудь вроде благочинного или отца Паисия, он мог и убить в запале того, на кого эта ярость обрушивалась. За поясом Дамиан всегда носил кожаную плеть, очень тяжелую, с треугольным наконечником из железа, и говорили, что десяти ударов ею достаточно, чтобы вышибить дух из взрослого человека. Во всяком случае, иногда мальчикам доводилось ее попробовать, и рваные раны, нанесенные плетью, не заживали по нескольку недель.

Впрочем, Дамиан мог и изображать свои «помутнения», просто так, чтобы его боялись. Но это всегда было заметно: когда он притворяется, а когда нет.

Лешеку Дамиан казался демоном ада, посланным на землю наказывать грешников, не дожидаясь их смерти. Слово «грех» Лешек понимал очень по-своему, потому грешниками считал всех вокруг, и себя самого, и Лытку. В его голове не укладывалось, можно ли быть грешным «больше» или «меньше». То, в чем ему велели каяться на исповеди, в его мыслях имело равную цену. Убийство ничем не отличалось от лишнего куска хлеба, съеденного за столом, ибо именовалось это чревоугодием, и плохо прочитанная молитва считалась нарушением первой заповеди, и чуть выше приподнятая голова – грехом гордыни. А Лешек был любопытен и опускать глаза долгу все время забывал. В конце концов он примирился с тем, что каждый его шаг грешен, и успокоился на этом.

Единственное, что хоть немного приводило в порядок путаницу в голове, это епитимии, назначавшиеся духовниками после исповеди. Разумеется, на исповеди мальчики никогда не признавались в том, что могло бы повлечь за собой серьезные наказания, и ими давно были придуманы «невинные» грехи, за которые могли назначить чтение «Отче наш»

в течение часа на коленях, или тридцать поклонов распятию, или еще что-нибудь столь же необременительное. Признаваться в чем-нибудь надо было обязательно, и у каждого имелся в запасе набор «грехов». Между собой мальчики обменивались этими «грехами», боясь выдумывать что-то новое, так как никто не знал, какое за этим может последовать наказание. Только самые отчаянные пополняли эту копилку «грехов» – Лытка, например. И Лешек снова вздыхал в восхищении и тоже хотел стать таким же отчаянным, но так ни разу и не решился.

Дамиан, сам в прошлом из приютских, хорошо знал эти хитрости и смеялся над духовниками, иногда в открытую, прямо при мальчиках. Лешек часто замечал, что настоятель приюта с пренебрежением относится к иеромонахам, и это укрепляло его в мыслях о том, будто тот состоит на службе у Дьявола, поэтому и не боится Бога. Мелкие грешки приютских мальчиков Дамиана не волновали, он ставил во главу угла только те проступки, которые могли вызвать недовольство благочинного или самого аввы. Впрочем, если какой-нибудь воспитатель притаскивал к нему мальчишку, Дамиан мог впасть в гнев только потому, что его потревожили из-за пустяка.

Однажды вечером, после ужина, к мальчикам заглянул отец Леонтий, что само по себе показалось странным – Леонтий любил поспать и, если вечернюю службу не служили, уходил в свою келью как можно раньше.

– Лешек, – ласково позвал он прямо от двери, и голос его был так сладок, что Лешек сразу почувствовал неладное, – пойдем со мной, тебя зовет отец Паисий.

Однако привел его Леонтий не в келью к иеромонаху, а в трапезную братии, где Лешек до этого ни разу не был. Огромные хоромы с длинным широким столом оставались почти пустыми, только во главе стола сидели трое: сам Паисий, благочинный и Дамиан. Лешек так испугался, что не сумел как следует осмотреться. Леонтий провел его через всю трапезную, и Лешек, памятуя о наставлениях Лытки, опустил голову как можно ниже и смотрел только на свои босые ноги.

– Лешек, не бойся, – улыбнулся ему Паисий и поставил так, чтобы все трое могли его хорошо видеть. – Этот разговор никаких последствий для тебя иметь не будет. Мы ведем богословскую беседу и хотели бы, чтобы ты послужил примером для некоторых наших измышлений, только и всего.

Лешек не особенно понял смысл его слов, но ему стало еще тревожней.

– Да, дитя, мы знаем, что все вы опасаетесь гнева брата Дамиана, – благочинный погладил его по голове, – но сейчас можешь чувствовать себя свободно – брат Дамиан пообещал нам, что не будет тебя наказывать, даже если тебе придется признаться в чем-нибудь, заслуживающем кары.

Лешек совсем струсил – он вовсе не собирался ни в чем сознаваться. Он бросил короткий взгляд на Дамиана и понял, что и благочинный, и Паисий заблуждаются на этот счет: на губах настоятеля приюта поигрывала легкая улыбка, а в глазах прятался подозрительный злой огонек.

Они расспрашивали его, что он думает о Боге, о грехе, о молитве, и Лешек сначала отвечал односложно или пытался пересказывать то, чему его учили. Отец Паисий не скрывал разочарования, стараясь его расшевелить, и Лешек внезапно пожалел экклесиарха: ему показалось, что он делает иеромонаху больно тем, что не хочет сказать правды, разрушает какие-то его надежды. Он разрывался между страхом и жалостью и в конце концов позволил себе высказать некоторые собственные мысли.

– Посмотрите, – Паисий повернулся к благочинному, – дитя, несомненно, понимает божий страх, но не может разобраться, что есть хорошо, а что – плохо. Он верит, искренне верит, но вера его не имеет под собой любви. И, я думаю, любой приютский мальчик, если вообще умеет выражать словами свои мысли, скажет нам то же самое. А это означает, что

в воспитании отроков мы делаем упор на послушание и страх, но не даем им настоящей, глубокой веры, которая может поднимать человека над собой, которая зажигает сердце...

Благочинный кивнул:

– Ты что-нибудь можешь предложить?

– Да! – воскликнул Паисий. – Я думаю, что отроков надо отдавать на попечение только тех монахов, которые имеют духовный сан, чтобы воспитатель был ребенку одновременно и духовником, и учителем.

Дамиан презрительно поморщился и обвел трапезную глазами. Ему не нравился этот разговор: все, не исключая приютских детей, знали, что авва отказал ему в рукоположении.

Лешек имел на этот счет собственное мнение, но и ему показалось правильным заменить всех воспитателей на духовников: те хотя бы делали вид, что интересуются мыслями мальчиков, а еще не были такими крикливыми и не имели привычки чуть что хватать за уши или бить по затылку.

– Лешек, – обратился к нему благочинный, – ты бы хотел, чтобы вместо брата Леонтия твоим воспитателем стал отец Нифонт?

Лешек посмотрел на Леонтия и очень быстро понял, что отца Нифонта назначат воспитателем еще не скоро, а брат Леонтий через несколько минут поведет его обратно в приют.

– Я очень люблю брата Леонтия, и отца Нифонта тоже люблю... – пробормотал он.

Паисий сжал губы и запрокинул лицо вверх, закатывая глаза. Лешек посмотрел на него виновато, и Паисий слабо ему улыбнулся.

– Дети забиты, они боятся своих воспитателей, вместо того чтобы их любить, – гневно произнес он и поднялся, – попробуйте протянуть руку, чтобы погладить отрока по голове, – он втянет голову в плечи, потому что не ждет от взрослых ничего, кроме подзатыльника!

С этим Лешек был согласен, еще больше полюбил иеромонаха и решил, что сочинит про него песню.

– Наказания не вредят детям, – парировал благочинный, – они лишь умиряют их гордыню, приближают к Господу через телесные муки, помогают почувствовать Божье величие по сравнению с собственной ничтожностью.

– Я буду говорить об этом с аввой, – закончил отец Паисий и вышел из трапезной широким уверенным шагом, и это было немного смешно, потому что ростом он не вышел и широкий шаг совсем не соответствовал его внешнему облику.

– Я полагаю, разговор окончен? – развел руками благочинный.

Как только Паисий покинул трапезную, Лешек почувствовал себя очень неудобно: ему показалось, что Благочинный не разделяет точку зрения Паисия, и вовсе не хотел приближаться к Господу путем телесных мук, а Дамиан между тем посмотрел на него так выразительно, что у Лешека задрожали колени. Взгляд этот не ускользнул от благочинного.

– Оставь дитяtko, брат Дамиан. Ты обещал. Отец Паисий близок к авве, он тебе этого не простит.

Все трое поднялись, Леонтий взял Лешека за руку и сжал ее так сильно, что ему захотелось запищать. Однако по глазам воспитателя было понятно, что делать этого не следует. И тут до Лешека дошло, что он наделал: он, подтверждая слова Паисия, тем самым рыл яму Дамиану, он доказывал правоту иеромонаха, но одновременно подтверждал неправоту настоятеля приюта! Да еще и именно в том, в чем тот был наиболее уязвим, – в вопросах веры! Эта мысль поразила его как громом, он понял, что ни Дамиан, ни Леонтий никогда ему этого не простят, и их обещание – пустые слова, они всегда найдут повод придрататься, так что Паисий не сможет уличить их в обмане. И Лытка его не спасет, и ничто теперь его не спасет...

Благочинный свернул к лестнице, и Лешек остался наедине с Дамианом и Леонтием, беспомощно глядя благочинному вслед. Ноги не хотели передвигаться, и если бы Леонтий не тащил его за собой, Лешек бы точно упал.

– Ну что, значит, Бога ты не любишь? – хмыкнул Леонтий, когда они вышли во двор.

– Люблю, – немедленно ответил Лешек, ощущая, как слезы наворачиваются на глаза. – Очень люблю, честное слово!

Дамиан шел вперед и не оглядывался, но спина его, напряженная, натянутая, говорила о том, что он в гневе и гнев этот сдерживается могучим усилием воли.

– Плохо любишь, если отец Паисий этой любви в тебе не нашел.

Лешек молча расплакался и не сумел ответить. Он не винил Паисия, ведь иеромонах хотел как лучше. Он хотел убрать воспитателей и Дамиана, и, наверное, ради этого стоило помучиться, но Лешек к венцу мученика готов не был, и напряженная спина Дамиана приводила его в трепет.

Тот распахнул двери в уютский коридор, на стене которого горела лампадка, и наконец обернулся. Лешек остановился и уперся ногами в порог, впрочем, сопротивляясь не очень сильно: Леонтий легко втащил его в коридор и подтолкнул к Дамиану. Лешек дрожал и плакал и от страха не мог вымолвить ни слова, когда Дамиан, одну руку положив на рукоять своей страшной плети, взял Лешека за трясущийся подбородок и нагнулся к самому его лицу.

– Я тебя запомнил, – он кивнул и легко усмехнулся.

Противная тошнота подкатила к горлу, и без того расплывчатое от слез лицо Дамиана закружилось перед глазами, ватные ноги подогнулись, и Лешек рухнул на пол как подкошенный.

Через неделю Дамиан был рукоположен в иеродиаконы и, вопреки обычаю, именовался теперь отцом Дамианом.

5

Лешек шел вперед медленно, но все же шел. Он оказался прав: за следующим поворотом реки ее охраняли еще двое всадников. Усталость и бессонница брали свое: каждый раз, зарываясь в снег, он боялся, что не сможет подняться, такой соблазнительной была неподвижность. Стужа высасывала из него силы, он чувствовал, как тепло уходит из тела с каждой остановкой, он привык к непрекращавшейся дрожи, и только падая в снег, замечал, как затекли непроизвольно приподнятые плечи.

Он не позволял рукам потерять чувствительность, хотя было заманчиво оставить все как есть: через полчаса боль прошла бы сама собой; но Лешек упорно растирал руки снегом, сжимал и разжимал кулаки, заставляя кровь добегать до кончиков пальцев. Замерзнуть на краю леса он позволить себе не мог, тут его тело нашли бы легко и быстро, и тогда – все напрасно.

Наверное, стоило уйти поглубже в лес и развести костер, чтобы хоть немного погреться, но Лешек боялся заблудиться и не хотел терять времени даром – днем он так идти не сможет. Сколько еще он продержится без сна? Сутки? Стоит только задремать, и ему придет конец.

Воспоминание о теплой печке в доме колдуна кольнуло острой болью. Подогретый мед, горячие камни, к которым так приятно прижаться спиной, и неторопливая беседа после морозного дня – что может быть лучше? Лешек отбросил эти мысли: думать о тепле нельзя, нельзя! От одних лишь мыслей голова клонится вниз и закрываются глаза. И... от этих воспоминаний сильно хочется плакать, потому что такого не будет больше никогда.

Нет. Думать надо не об этом. Он ушел, он ушел, и за сутки им не удалось его изловить! Губы разъехались в стороны сами собой, и Лешек почувствовал, как горячий комок сжимается где-то за грудиной и тепло от него расплзается по всему телу.

Дамиан придвинул скамейку поближе к печке и прижался спиной к теплым камням – слишком сильный мороз, давно такого не бывало. Подогретое вино не веселило, а приводило в еще большее раздражение, мясо казалось пережаренным, и чадающая лампа грозила вот-вот погаснуть. Он вскочил на ноги и прошелся по келье. Ну где же Авда? Монахи спят, за окном воет ветер, давно перевалило за полночь, а его все нет!

Неужели так трудно изловить щенка? Двадцать человек только из обители, и еще больше на заставах и в скитах? И полсотни хорошо обученных воинов за целые сутки не в состоянии найти ни одного следа?

Парень замерз. Если бы он двигался, его бы давно заметили. Скорей всего, он просто замерз, лежит сейчас где-нибудь на краю леса, и его потихоньку заносит снегом.

Стук в дверь заставил Дамиана вздрогнуть. Это не Авда, его тяжелые шаги можно услышать издалека. Дверь приоткрылась – пришедший не стал дожидаться ответа. Авва. Так может входить только авва. Дамиан скрипнул зубами и стиснул кружку в руке, так что она едва не лопнула.

– Ай-я-яй, Дамиан... – авва покачал головой, – вкушать пищу в келье строго запрещено уставом.

Дамиан хотел сказать, что плевал на устав, но придержал язык. Авва присел на край скамьи, придвинутой к печке:

– Морозно сегодня. Не обращай внимания, я понимаю, что в заботе об обители тебе некогда было поесть днем.

Дамиан кивнул, не ожидая ничего хорошего. Авва умен, очень умен.

– Скажи мне, почему бегство какого-то жалкого певчего заставляет тебя не есть, не спать и гонять людей по морозу ночь напролет?

Дамиан был готов к этому вопросу:

– Он смущал послушников богохульными речами, он сорвал крест, проклял Бога – это ли не повод?

– Не надо, Дамиан! Тебе нет никакого дела до Бога, – авва перекрестился и вознес очи горе, – и настроения послушников – ответственность благочинного, или я не прав?

– Я пекусь о благе обители, – пожал плечами Дамиан, – а парень мог бы принести ей много пользы своим пением. И в его возвращении есть смысл. А кроме того, его поступок колеблет незыблемость наших устоев. Он должен быть наказан.

– Само собой. Давай говорить откровенно – я ведь не враг тебе: он унес хрусталь?

Дамиан скрипнул зубами: авва просто сложил два и два. Архидиакон кивнул и отвел глаза.

– Ты мог бы сразу сказать мне об этом. Или ты считаешь, что я ничем не могу тебе помочь?

– Этого я не знаю, – Дамиан вздохнул и сел. – Мальчишка скорей всего замерз в лесу, и отыскать его тело будет не так-то легко. Чем ты можешь мне помочь?

– Ну, я могу дать тебе людей, например. Но я бы не стал полагаться на этот случай, а рассмотрел другую возможность: предположим, он не замерз. Что тогда? Ты знаешь, куда он пойдет?

– Понятия не имею! – фыркнул Дамиан. – Он настолько глуп, что не потрудился закрыть крышку сундучка с хрусталем, он кричал о своем уходе перед двадцатью послушниками, вместо того чтобы тихо выскользнуть за ворота. Он... Я не могу предсказать поведение глупца!

– Вот видишь. Ты, такой бывалый хват, такой хитрый лис, не можешь понять поступков юноши, а между тем они лежат на поверхности: он хотел, чтобы ты понял, кто унес хрусталь. Он бросил тебе вызов, лично тебе. Он хотел, чтобы ты скрипел зубами и ходил по келье из угла в угол, без еды и без сна. И он своего добился. Я смотрю, мясо тебя не радует, заснуть ты не можешь, а вино не приносит тебе удовольствия, или я не прав?

– Да! – рявкнул Дамиан. – Да, все это так! Но он слишком труслив для того, чтобы бросить вызов мне!

– Тебе стоило понять это раньше, до того, как он ушел. Ты слишком полагаешься на страх, а это не самое сильное человеческое чувство.

Иногда авва раздражал Дамиана до зубной боли, и ему стоило немалых усилий не ответить ему грубостью.

– Неужели? Для кого-то – может быть, но не для этого жалкого певчего. Я помню его еще ребенком.

– Еще бы ты его не помнил! И, однако, он ушел и унес хрусталь, а ты – скрипишь зубами и не можешь спать. Подумай, куда он пойдет? Он, может быть, и глупец, но и поведение глупцов иногда бывает вполне предсказуемым.

– Я не знаю! – завыл Дамиан и швырнул кружку на пол. Но она не разбилась, чем взбесила его еще сильнее.

– Успокойся. Он добивался именно этого, он лишил тебя возможности думать. Я тебе скажу, куда он пойдет, – он пойдет к Невзору, ему больше некуда идти. Он понимает, что от хрусталя ему надо избавляться, он не может всю жизнь бегать от тебя, как заяц от гончей. И он пойдет к волхву, потому что ему доверяет.

– А почему не к князю? Там он точно окажется в безопасности.

– Потому что цель его высока и добродетельна, неужели ты еще не понял? Он хочет отдать хрусталь в надежные руки, тому, кто, по его мнению, не воспользуется им во зло. А князь к числу таких людей не относится.

– Князя я бы тоже отметить не стал... – проворчал Дамиан. Высокие и добродетельные цели не были ему понятны.

– Не отмечай, – просто согласился авва. – Но и волхва не упускай из виду.

Он поднялся и подошел к двери:

– Если что-нибудь узнаешь – докладывай мне. Я не буду бесполезным в этих твоих поисках.

Дамиан кивнул.

– Спокойного сна, – вкрадчиво ответил на его кивок авва и ушел так же бесшумно, как и появился.

За этой мягкостью и спокойствием Дамиан разглядел раздражение, если не сказать больше. Авва никогда не показывал переживаний, никогда. Он оставался неизменно мягким, немного насмешливым. Со всеми. Никто не мог угадать настроение аввы, но Дамиан чувствовал, что скрывает его улыбка. Наверное, поэтому и смог подняться на самый верх по ковровой дорожке, которую авва для него расстелил.

Интересно, он собирается жить вечно? Авва со всей тщательностью закрыл Дамиану дорогу на свое место, и даже после его смерти Дамиану не получить полной власти над Пустыней. Его замыслы, которых Дамиан не понимал, как ни старался, оставались далеко идущими, рассчитанными на годы, если не на десятилетия. И очень честолюбивыми. Зачем старцу честолюбивые замыслы? Не проще ли принять схиму и остаться в памяти потомков верным слугой Господа, как это делали настоятели до него?

Дамиан подозревал, и небезосновательно, что авва хочет от него избавиться. Авва считал, что расширять земли дальше бессмысленно и опасно: обитатели не хватит сил удерживать то, что они сегодня имеют. Захват земель прошел столь стремительно, что обитель не успела набрать сил и средств для того, чтобы их удержать. Авва хотел сделать передышку, но Дамиан не мог с ним согласиться: расширение земель ослабляло главного противника – Златояра.

Хрусталь решал и эту задачу, и множество других. И открывал перед аввой еще более широкие горизонты, и по дороге к ним Дамиан снова был для него желанен и необходим.

Не успел он поднять кружку и вытереть пролитое вино, как услышал тяжелые шаги по лестнице; на этот раз можно было не сомневаться: наверх поднимался брат Авда. Уже по его походке Дамиан понял, что никаких вестей начальник сторожевой башни ему не принес, – он всегда безошибочно угадывал такие вещи.

Авда зашел в келью, пригибая голову под притолоку, и замер, прикрыв за собой дверь. Его словно высеченное из дерева лицо ничего не выражало, на щеках не проступило румянца с мороза, губы оставались плотно сжатыми. Высокий чистый лоб не хмурился – Авда всегда смотрел исподлобья и сдвигал клобук немного на затылок, отчего боковые крылья клобука приподнимались, сужая нижнюю часть лица и делая его похожим на череп.

– Садись, – кивнул Дамиан на скамью, где только что сидел авва.

Авда не стал отказываться ни от мяса, ни от вина.

– Ничего, вообще ничего! – пробормотал он, запихивая в рот жирный кусок утиной грудки. – На четвертом участке ребята слышали, как треснула ветка, но в лес не пошли – снега по грудь.

– Напрасно, – сжал губы Дамиан.

– Прикажешь пройти?

– Прикажу. Сами могли бы догадаться, не дожидаясь приказа.

– Мороз трещит.

– Верю. Но проверить стоило. Он не может замечать следы бесконечно, ему это не под силу. В Никольской слободе дозоры поставили?

– Пять человек вокруг, и пятеро ходят по домам. Там же поле, он не сможет подобраться незамеченным. – Авда шумно глотнул вина.

– Если он идет по лесу, то просто обойдет слободу кругом.

– Дамиан, он слабенький юноша, а не лось. Ты можешь себе представить, каково оно – идти по лесу? Я говорю тебе, он замерз! Нам надо искать его тело, а не сторожить реку.

– Если ты будешь уповать на это, ты никогда его не возьмешь. Сними людей с дороги до четвертого участка и отправь к слободе. Идите цепью по левому берегу от слободы к монастырю. До четвертого участка.

Авда кивнул.

6

Лешек очень устал, каждый шаг давался ему с трудом. Он хотел пить, но от снега во рту ему становилось еще холодней, и он отказался от этого. В горле першил сухой кашель, но кашлять он не осмеливался – могли услышать. Ему нужно было отдохнуть. Давно перевалило за полночь, луна скрылась за лесом, когда ему послышался далекий лай собак: Никольская слобода. Лешек удивился, насколько далеко от монастыря удалось уйти. Впрочем, верхом сюда можно было добраться за два-три часа, если хорошенько гнать лошадь.

Мысль забраться на чью-нибудь поветь, зарыться в сено и поспать показалась ему очень соблазнительной, но Лешек немедленно отбросил ее в сторону: наверняка вокруг слободы полно монахов, ему не удастся до жилья незамеченным. Значит, надо обходить ее вокруг. Он вздохнул и стиснул зубы: ничего страшного. Он сможет. Они ждут его в слободе, они не поверят, что он ее обойдет.

Теперь лай собак не дал бы заблудиться, и Лешек зашел в лес немного глубже, чтобы его точно никто не заметил с реки. Это позволяло идти не останавливаясь, но Лешек быстро понял, насколько вынужденные остановки помогали собирать силы.

В глубине леса ветра не было слышно, тишина зазвенела в ушах, и ему казалось, что шум его дыхания слышен и на реке. Впереди и немного слева хрустнула ветка. Хрустнула громко, отчетливо и довольно далеко. Он замер и прислушался. Еще одна. Это не мороз: Лешек достаточно долго слушал звуки леса, чтобы понять, как ветки трещат от мороза, а как – под чьей-то ногой.

И все же они шли ему навстречу очень тихо, не переговаривались, не раздвигали ветвей руками... Но он как зверь ощутил их присутствие. Бежать назад? Далеко он не убежит, это понятно. Монахи – здоровые, крепкие ребята, они нагонят его за несколько минут, как только обнаружат его след. Наверняка они шли цепью. Но не через весь же лес они протянули эту цепь?

Лешек вернулся по своему следу назад – по проторенной дорожке двигаться было легче и быстрее, – а потом свернул в глубь леса, стараясь замести за собой след. Среди деревьев темно, луна скрылась, и даже если они станут светить себе факелами, разглядеть потревоженный снег будет очень трудно. А факелами они светить не будут, они хотят остаться незамеченными.

Дело было трудным и двигалось медленно, а время поджимало. Они могли если не увидеть, то услышать его. Лешек скинул полушубок, и работа пошла быстрее. Саженой сто, если не больше, он полз назад, заравнивая за собой снег, когда услышал у реки голоса: они наткнулись на его следы. Но наткнулись на них не там, где он их оборвал, а ближе к реке, там, где он свернул к лесу, обнаружив поблизости слободу. Значит, он выскользнул из облавы очень удачно – увидев оборванный след сразу, они бы смотрели по сторонам внимательней.

Однако найти его теперь – дело времени. Их много, с рассветом монахи легко увидят весь его путь, как бы он ни старался замести следы. Значит, у него есть только один выход: пройти там, где его след не будет одиноким. Там, где прошла цепь.

На след монахов он наткнулся нескоро, продолжая засыпать за собой снег, – они двигались совсем близко к реке. Лешек надел полушубок мехом наружу и нарочно повалился в снег – так он будет не слишком виден издали. Пока темно и нет луны, у него есть возможность по следам преследователей добраться до слободы незамеченным.

* * *

Когда Лешек рассказал Лытке о разговоре с монахами, тот сначала забеспокоился и всячески Лешека оберегал и прикрывал, но, видно, Дамиану хватило того, что он напугал отрока до обморока, поэтому ничего страшного за неделю с Лешekom не случилось. А когда Дамиана рукоположили в иеродиаконы, Лытка просто взбесился от злости: он не боялся настоятеля приюта, он его презирал и ненавидел одновременно.

– Лытка, вот объясни мне, за что его сделали диаконом? – Лешек понял лишь, что с должности настоятеля Дамиана теперь точно не снимут, и очень расстроился. И Паисия он жалел: по всему было видно, что иеромонах этим огорчен. А Лытка отличался не только силой и смелостью, он еще и хорошо разбирался в больших монастырских делах: ему доставляло удовольствие разведывать и собирать слухи об отцах обители, наблюдать за ними, выяснять, кто кого продвигает вперед и кто кому переходит дорогу. Лешек ничего в этом не понимал, но слушал измышления Лытки с удовольствием и удивлялся его проницательности.

– Авва двигает Дамиана, – с готовностью ответил Лытка, – но не может же он совсем не прислушиваться к иеромонахам?

– Но ведь раньше он ему отказал? Все же знали...

– Ну какой из Дамиана иерей? Знаешь, я думаю, он и в Бога-то не очень верит... – это Лытка на всякий случай сказал шепотом, – авва тоже не дурак. Если Дамиан станет иеромонахом, то его, чего доброго, сделают игуменом, он же такой, без масла куда хочешь влезет... Ведь это не авва будет решать, а где-нибудь повыше. Епископы какие-нибудь... Представь себе Дамиана на месте аввы! Да он весь монастырь разнесет со своими помутнениями!

Лешек судорожно хохотнул: ему совсем не хотелось видеть Дамиана на месте аввы. Авву он, правда, встречал только на праздничных службах и ничего о нем толком не знал. Но Дамиана на этом месте представлял хорошо.

– А зачем авва его тогда двигает?

– Не знаю. Не понимаю я этого. Или он хочет весь монастырь сделать похожим на наш приют? Чтобы все по струнке ходили... Не знаю.

– Противно получилось, – вздохнул Лешек. – Паисий хотел Дамиана убрать, потому что у него сана нет, а вышло еще хуже... Может, авва просто не знает, какой Дамиан на самом деле? Может, с аввой он прикидывается добрым?

Лытка пожал плечами, что могло означать все что угодно: от его неуверенности до полного согласия с этими словами. Лешеку хотелось думать про авву хорошо: пусть в монастыре будет хоть один человек, на которого можно уповать в случае чего. Из этой истории он сделал вывод, что Паисий не имеет настоящей власти и надеяться на его заступничество не приходится.

Лытка сказал, что Дамиан забудет эту историю. Наверное, он просто хотел Лешека успокоить, но Дамиан и вправду его не трогал, удовлетворившись маленькой победой над Паисием. Лешеку от этого было не менее страшно, он обмирал при виде Леонтия и старался ходить по стеночке, как мышка. Но прошло время, все забылось, жизнь вошла в привычное русло, и в следующий раз он столкнулся с Дамианом только через год.

Лешеку к тому времени исполнилось одиннадцать, а Лытке – тринадцать, причем Лешеку никто бы не дал больше восьми, а его друга запросто можно было принять за пятнадцатилетнего юношу: он вытянулся и заметно раздался в плечах, у него начал ломаться голос, а над верхней губой пробивался светлый пушок.

Паисий на время запретил Лытке петь, и Леонтий определил ему другое послушание – поставил помощником к старому углежогу Дюжу. Дюж, человек довольно крупный и мрач-

ный, на поверку оказался добрым, жалел Лытку, называл его «чадушко», отчего тот слегка обижался, и не подпускал к работе.

– Побегай, чадушко, поиграй. Когда еще доведется?

Лешек завидовал Лытке – уголь жгли в лесу, у Ближнего скита, а походы в лес Лешек очень любил. Во второй половине лета и осенью мальчиков отправляли за ягодами и грибами, но стоял солнечный май, а до июля надо было дожить.

Времени на игры у детей в приюте и вправду не было: в обычные дни не менее шести часов отнимали церковные службы, а остальное время ребят, как и других насельников, занимали послушанием. Певчим повезло больше остальных – их послушание состояло в спевках, остальные же приютские помогали на скотном дворе или в мастерских. Только после ужина, если не служили всенощную, мальчики были предоставлены сами себе – от повечерий и полуношниц их освобождали.

Воскресенья и праздники Лешек ненавидел: несмотря на любовь к пению, отстоять на клиросе всенощную – а она заканчивалась в половине пятого утра – само по себе было тяжело, а уже к восьми требовалось явиться к исповеди, к десяти снова подниматься на клирос и петь во время трехчасовой литургии, после обеда – какой-нибудь молебен, а в шесть пополудни – опять служба... В субботу вечером он непреодолимо хотел лечь и умереть, а в воскресенье после ужина засыпал как убитый, хотя воспитатели обычно расходились по кельям и время считалось очень подходящим для веселья и шалостей. Правда, и послушаний никаких в воскресенье не назначали, но Лешеку от этого легче не становилось.

– Лытка, вот объясни мне: зачем нужны эти всенощные? – интересовался Лешек каждую субботу. И тогда Лытка пускался в рассуждения о Боге.

– Я думаю, это такой бог, которому надо служить. Иначе он останется недоволен. Чем больше ему служишь, тем больше ему нравится.

– Лытка, мы и так все попадем в ад, так зачем мучиться еще и при жизни?

– Ну, я думаю, не все. Вот схимники, например.

– Знаешь, когда я думаю про схимников, мне в рай что-то не хочется... Представь себе, что это за рай, в котором никого больше нет, кроме чернецов...

– Все равно служить надо. Ведь Бог может покарать и здесь. Если ему не служить, возьмет и устроит конец света. Или убьет молнией. Леонтий рассказывал, помнишь? Про нерадивого отрока?

Лешек, конечно, помнил. Много лет назад, когда сам Леонтий был мальчишкой, одного из приютских – по словам Леонтия, нерадивого в служении Богу, – на самом деле убило молнией. Монахи иногда поминали его молитвой в годовщину смерти, и одинокое дерево с обугленной верхушкой, около которого он погиб, до сих пор стояло недалеко от монастырской стены. Эту историю частенько рассказывали в назидание мальчикам, и на маленького Лешека она нагоняла такого страха, что он неизменно плакал в конце. Каждый раз, когда рассказ доходил до того места, где мальчик бежал к дереву, Лешек надеялся, что Бог промахнется и молния ударит мимо. Но – как ни странно – история всегда заканчивалась одинаково: злой бог настигал дитя и убивал. Лешек даже сочинил песню, в которой мальчику удалось спрятаться в лесу, и бог, рассерженный неудачей, долго кружил над ним, но деревья надежно укрыли отрока сенью своих ветвей.

По воскресеньям Лешек Бога особенно ненавидел и думал: как было бы здорово, если бы нашелся какой-нибудь отважный герой, который бы поднялся на небо, убил его и освободил людей от непосильного ему служения. Наверное, Иисус хотел спасти людей от Бога, но выбрал для этого какой-то странный путь, а потом, все же поднявшись на небо, и вовсе остался там и помогает теперь вершить страшный суд.

Лытка службами не тяготился: он осиротел довольно поздно и, по сравнению с тяжелым трудом землепашца, многочасовое стояние на клиросе трудным не считал. Зато он нена-

видел пост. Лытка всегда хотел есть, хотя кормили приютских не так уж плохо: и молоко, и яблоки, и каша с постным маслом, и рыба по праздникам. Наверное, он рос слишком быстро и ему действительно не хватало того, что отпускалось детям строго по уставу. В постные дни Лытка непременно был скучным, а к концу продолжительных постов становился раздражительным и несчастным. Лешек, который к еде относился равнодушно, делился с ним, что, кстати, строго запрещалось монастырским уставом, но легче от этого Лытке не становилось.

Оказавшись помощником углежога и несколько часов в день предоставленный сам себе, Лытка, конечно, ни во что не играл – вышел из этого возраста, – но зато получил возможность обследовать окрестности монастыря, и в первую очередь Ближний скит. По вечерам он рассказывал Лешеку о своих приключениях, и Лешек завидовал ему еще сильнее.

Вообще-то в ските никто не жил: три отдельно стоящие кельи пустовали с давних времен, а в маленькой часовне раз в год служили молебны преподобного Агапита, игумена Усть-Выжской Пустыни, умершего лет пятьдесят назад. Однако скит не был заброшен: дорожки двора тщательно выметены, избы подправлены – хоть сейчас въезжай и живи. Лытка не понимал, зачем это нужно, пока однажды, без дела шатаясь по лесу, не увидел цепочку монахов, молча пробиравшихся через лес к скиту.

Он присел, спрятавшись в малиннике: монахи шли тихо, как будто крались, и с ними вместе был один человек, одетый в мирское, по-военному. Когда же в одном из монахов Лытка узнал авву, а в другом – ойконома Гавриила, то не смог преодолеть любопытства и решил непременно за ними проследить.

Монахи вошли в небольшую, отдельно стоящую трапезную скита, внимательно осмотревшись по сторонам, но Лытку, разумеется, не увидели – он умел прятаться. Один из монахов остался снаружи и время от времени обходил домик по кругу, как будто чуял, что кто-то захочет подслушать разговор. От этого Лытке еще сильнее захотелось узнать, о чем они говорят.

С задней стороны, к трапезной вплотную, густо росла смородина, и Лытка, дождавшись, пока сторож скроется за поворотом, спрятался за ней и прижался к бревенчатой стене: с тропинки, по которой ходил монах, разглядеть Лытку было нельзя, зато он слышал все, что происходило за стеной.

В этом разговоре Лытка сначала ничего не понимал, но быстро догадался, что военный – один из приближенных князя Златояра, который, по сути, стал лазутчиком монастыря. Военный рассказывал о князе, о его ближайших замыслах и, в чем Лытка не сразу смог разобраться, о далеко идущих намерениях. Это было так интересно, что он забыл про все на свете и, открыв рот, жадно ловил каждое слово, стараясь запомнить то, что не понял сразу. За сухими словами воина ему виделись княжеские палаты, конница с развевающимися плащами, жители деревень, прячущиеся по домам при виде отряда сборщиков податей. Монахи обговаривали сказанное сдержанно, а после и вовсе перешли на обсуждение монастырских дел, что Лытке показалось еще интересней.

Вечером он, захлебываясь от восторга, передавал услышанное Лешеку, но взял с него клятву никогда никому об этом не говорить. А потом долго не мог уснуть, переваривая услышанное, додумывал остальное и следующим вечером снова говорил с Лешekom – теперь уже о своих соображениях.

Лешек не очень хорошо разбирался в таких высоких материях, но слушал Лытку с удовольствием. Из рассказов он понял только, что князь Златояр притесняет монастырь и обирает его деревни, отчего в обители скоро совсем нечего будет есть. Подати, которые крестьяне платили монахам, ушли в мошну князя, и у крестьян нечего больше взять. И никакое Божье слово не поможет убедить деревенских в том, что людям князя ничего отдавать нельзя: его дружина действует силой, а не убеждением.

За месяц Лытка выяснил, что собираются монахи в скиту два раза в неделю – в понедельник и среду. Причем в среду всегда приходит лазутчик, а в понедельник они просто обсуждают монастырские дела, не предназначенные для чужих случайных ушей. Лешеку очень хотелось хотя бы раз побывать там вместе с другом, посмотреть на незнакомого воина, послушать, о чем говорят между собой авва и ойконом, когда их никто не слышит. Его не очень волновали ссоры с князем, но зато внутренняя жизнь обители касалась его напрямую. Что авва думает о Паисии, о Дамиане, какими словами они говорят друг о друге – всего этого Лытка как следует рассказать не мог, он больше интересовался внешней стороной дела. Да и вообще, такое увлекательное приключение будоражило его кровь: лес, скит, тщательно оберегаемые тайны и причастность к чему-то большому, важному, вместо скучной приютской жизни и надоевших богослужений.

Лытка тоже хотел хоть раз взять Лешека с собой – может быть, для подтверждения собственных рассказов, а может и потому, что вдвоем это гораздо интересней. Но не мог же Лешек прямо попросить отца Паисия отпустить его погулять по лесу вместе с Лыткой!

И тогда Лытка придумал маленькую хитрость, на которую ни один воспитатель бы не поддался, зато отец Паисий наверняка не заподозрил бы подвоха: Лешеку надо было притвориться больным, но не раньше, чем на спевке, потому что иначе воспитатели могли быстро его раскусить. В понедельник после завтрака Лытка сам угольком изобразил Лешеку черные круги вокруг глаз, и без того больших и глубоких. Вид получился впечатляющий: хиленький мальчонка на грани истощения, на лице одни глаза остались. Он велел Лешеку почаще тяжело вздыхать и петь как можно тише.

Надо сказать, Лешеку было не очень приятно обманывать отца Паисия, но по дороге в церковь он так поверил в свой обман, что и вправду начал чувствовать себя изможденным и больным: после воскресенья это было неудивительно. Разумеется, Паисий, услышав два-три тяжелых вдоха, сам спросил Лешека о самочувствии и отправил его в приют, выспаться и отдохнуть. Ни в какой приют Лешек, конечно, не пошел, а потихоньку, вдоль монастырской стены, проскользнул к восточным воротам, где его ждал Лытка. До Ближнего скита они пошли кружной дорогой, чтобы не попасться на глаза монахам. И только тут Лешек подумал о том, насколько рискованное дело они задумали.

– Слушай, Лытка, а что будет, если нас поймают? – он приостановился, раздумывая.

– Высекут, – усмехнулся Лытка.

Таким отчаянным трусом, как год назад, Лешек уже не был, но у него все равно пере-дернулись плечи.

– А ты что, боишься? – спросил Лытка и посмотрел на Лешека с вызывающей улыбкой.

– Нет, – поспешил ответить Лешек – он во всем хотел быть похожим на Лытку, – я не боюсь. Но, знаешь, мне кажется, так легко мы не отделаемся... Наверняка об этом расскажут не Леонтию, а Дамиану.

– Да ну! Ты слышал, что Дамиану запретили бить приютских его плеткой? Чтобы он не убил никого ненароком.

– Нет. Ну и что, что запретили. Он все равно с ней ходит... – Лешек не сомневался, что нарушить запрет Дамиану ничего не стоит.

– Да ладно, пошли, никто нас не поймает! – рассмеялся Лытка. – Я целый месяц хожу, и ничего.

Но Лешека мучило нехорошее предчувствие, он все чаще вздыхал, однако делиться с Лыткой опасался – чего доброго, его друг и вправду решит, что ему страшно.

Они успели залезть в смородину до того, как в ските появились монахи, но сидеть без дела им пришлось недолго. У Лешека от волнения стучали зубы: он так долго ждал этой минуты, и наконец его мечта сбывается! Он даже забыл о своих смутных сомнениях, а страх только усиливал нетерпение. В глубине души он, конечно, мечтал, чтобы все поскорей закон-

чилось благополучно и они с Лыткой вернулись в приют. Лешек уже представлял себе эту обратную дорогу по солнечному лесу, и их разговор, и гордость собой за столь дерзкую вылазку.

Монахи подошли к трапезной бесшумно, Лешек услышал их, только когда раздался скрип двери. И волнение его было вознаграждено сторицей: поговорив немного о запасах зерна на конец лета и сборе податей будущей осенью, монахи стали обсуждать Дамиана. Разговор их был долгий и путанный, Лешек не все в нем понимал.

– Я думаю, Дамиана рано поднимать наверх, – мрачно сообщил ойконом, – он не вполне владеет собой, гневлив и, между прочим, понимает, что авва ему благоволит, поэтому ведет себя не всегда выдержанно.

– Ну и что? – возразил благочинный. – Он молод, а этот недостаток со временем, как известно, проходит. Не забывайте, в одночасье он ничего не добьется, ему потребуется несколько лет для того, чтобы его начинание стало приносить настоящую пользу.

Монахи говорили по очереди и не перебивали друг друга, Лешеку показалось, что кто-то – наверное, авва – делает им знаки, когда можно начинать говорить.

– Я считаю, что у него есть другой недостаток, – сказал иеромонах, голоса которого Лешек не узнал, – он равнодушен к мнению о нем братии и, что будет сильно мешать, к мнению иеромонахов. Духовники мальчиков жалуются на него, Паисий только и ищет повода прижать его к ногтю, а Дамиану – как с гуся вода.

– Паисий ничего не решает, – не согласился благочинный.

– Паисий – да, но лишний ропот нам тоже не нужен. И потом, Дамиан не любит отроков и запугивает их сверх меры.

– Э, тут ты не прав, – снова вступил в разговор ойконом. – Мы позволили ему действовать по его усмотрению и не чинили препятствий. И посмотрите, как он расставил людей, добился послаблений для воспитателей. Я посмеивался и восхищался тем, с какой легкостью ему удалось сократить послушания для мальчиков, как он наладил хорошее питание – между прочим, мальчики сейчас едят больше, чем некоторые монахи, а с послушниками я бы и сравнивать это не стал. Он отлично ведет хозяйство, и при всем при этом приют приносит пользы больше, чем требует расходов. Вся заготовка грибов и ягод лежит на отроках, а пять лет назад они не собирали и трети всех запасов. Раньше монахи отказывались от помощи приютских и считали их обузой, а не подспорьем, а теперь наоборот – рады и даже просят в помощь мальчиков. А ведь время, отпущенное на послушание, он сократил почти вдвое.

– Конечно, дети настолько запуганы воспитателями, что опасаются отлынивать от работы.

– Нет. Это, конечно, тоже имеет значение, но основная заслуга Дамиана не в этом: мальчики высыпаются, достаточно отдыхают, хорошо едят – неудивительно, что они больше не похожи на голодных сонных мух, которых мы видели пять лет назад. Знаете, как он добился полных корзинок с ягодами, которые приносят ему из леса? Во-первых, поход в лес в приюте считается наградой, туда не пускают тех, кто нарушает порядок. Во-вторых, мальчикам не запрещают есть ягоды, но при этом они должны собрать полную корзинку. Раньше дети выбирались в лес, чтобы набить живот и подремать под кустиками, теперь же – чтобы погулять с пользой для дела.

Лешек слушал открыв рот: ему никогда не приходило в голову, что Дамиан заботится о них и добивается для них каких-то послаблений. Он, конечно, слышал, будто раньше послушания начинались в шесть утра и заканчивались в десять вечера, но никак не связывал это послабление с Дамианом – в те времена он был слишком мал, чтобы понимать разницу между воспитателем и настоятелем приюта.

– Но в приюте действительно не уделяют должного внимания вере, – сказал кто-то незнакомый Лешеку по голосу, – детей заставляют вызубривать непонятные для них канонические тексты, и, если бы не проповеди, они бы вообще не имели представления о Боге!

– Ну, это можно отнести к просчетам Дамиана и даже пожурить за это, но сейчас-то мы речь ведем не об этом, – вставил благочинный.

– Дамиана нужно держать в ежовых рукавицах, – этот голос Лешек тоже не узнал, – он слишком... пронырлив и слишком любит власть. И его начало над приютом это лишь подтверждает. Я думаю, он может стать опасным не только для наших врагов, но и для нас, рано или поздно.

– Дамиан никогда не подставляет своих людей, – добавил благочинный, – заметьте, он ни разу ни одной своей неудачи не списал на воспитателей или воспитанников. Он принимает ответственность за их поступки на себя и разбирается, как с отроками, так и с воспитателями, самостоятельно.

Все замолчали, и молчание длилось довольно долго, пока наконец Лешек не услышал голос аввы:

– Я выслушал всех, кто хотел что-то сказать? Тогда я скажу так: Дамиана не стоит пускать наверх. Пока. Пусть остается настоятелем еще некоторое время, вернемся к этому через год-другой. Но мы можем ввести его в наш круг – это будет для него полезно и приятно, толкнет вперед. Он будет понимать, в чем состоит его задача, и, возможно, уже сейчас начнет ее решать. И те несколько лет, которые отделяют его от той самой «настоящей пользы», он может благополучно совмещать с должностью настоятеля приюта.

Лытка, слушавший монахов сжав зубы и сузив глаза, от злости хлопнул кулаком по коленке: никакие заслуги Дамиана не могли поколебать ненависти Лытки к нему. Лешек понял, что чувствует Лытка: разочарование в авве и крушение надежд на то, что Дамиан когда-нибудь будет наказан по заслугам. Его детское, немного наивное представление о главах обители трещало по всем швам, и если Лешек спокойно принял грубую откровенность этого обсуждения, то Лытка принимать такого не желал.

Он был так возмущен, что еще раз хлопнул рукой по коленке и со свистом втянул в себя воздух. Это он сделал напрасно: монах, обходивший трапезную дозором, услышал странный звук и быстрыми шагами направился в их сторону. Лешек сполз на землю, поглубже зарылся в кусты и прикрыл руками голову, стараясь слиться с травой и смородиной, но Лытка был слишком большим для такой уловки – как только сторож раздвинул ветки, он тут же обнаружил его вихрастую голову, которую и ухватил за волосы.

– Хо! – крикнул монах, и разговор за стенкой немедленно стих.

Лешек лежал ни жив ни мертв. В голове появилась мысль немедленно кинуться на сторожа и попытаться вызволить друга, но страх сковал его движения, и за то короткое время, пока монах вытаскивал Лытку из кустов на тропинку, Лешек так и не собрался с духом это сделать. А потом было поздно, потому что неожиданно подбежать к монаху сзади у него бы точно не получилось.

Сторож ни слова не говоря потащил Лытку в трапезную – Лешек услышал, как открывается дверь. Наверное, для него это был самый подходящий случай убежать незамеченным, но бросить друга вот так, даже не выяснив, что с ним произойдет дальше, он посчитал совсем позорным.

– Я вытащил его из кустов смородины, – сказал сторож, – я думаю, он подслушивал.

Монахи не вскакивали с мест и не шумели. Лешеку показалось, что они даже не удивились.

– А Дамиан молодец... – глухо засмеялся ойконом. – Такого я от него не ожидал.

– Я не вижу в этом ничего смешного, – возразил некто, с самого начала нападавший на Дамиана. – Не сомневаюсь, что он догадывался о наших сходах, но это вопиюще! Посылать лазутчика к самому авве!

– Погодите, – оборвал его благочинный. – Может, мы сначала спросим отрока, зачем он здесь и кто его прислал?

– Чадо, – обратился к Лытке сам авва, – скажи нам, что ты тут делал?

– Я оказался здесь случайно, – Лешек по голосу догадался, что Лытка вовсе не испугался, – и мне стало очень любопытно. Прости меня.

Голос у Лытки был смешной – то он басил, а то срывался на писк.

– И отец Дамиан тебя сюда не посылал?

Видно, Лытка покачал головой, потому что ответа Лешек не услышал.

– Брат Василий, сходите в приют и позовите сюда отца Дамиана, – попросил авва. – Вот для него и настала минута появиться здесь по приглашению. Хороший повод, ничего не скажешь.

По голосу аввы невозможно было догадаться, сердится он или, наоборот, доволен случившимся. Монах, дозором обходивший трапезную, вышел во двор, и Лешек услышал его скорые удаляющиеся шаги.

– Ты был один? – спросил авва, и от этого вопроса Лешек обмер. Нет, он нисколько не сомневался в том, что Лытка его не выдаст, но ведь ему придется солгать самому авве! А вдруг это как раз такой грех, за который Бог непременно поразит его молнией?

– Один, – спокойно ответил Лытка.

– Отец Гавриил, посмотрите, пожалуйста, нет ли там еще одного лазутчика.

Лешек понял, что надо срочно менять расположение, выскользнул из кустов, перебежал тропинку и спрятался за толстым дубом, сжавшись в комочек у его корней. Но ойконом не стал обыскивать весь двор, осмотрев только смородиновые кусты, да и то не очень тщательно. Нет, убежать Лешек не мог. Он бы никогда не простил себе этого. Вернуться в смородину он побоялся и нашел себе другое укрытие, в зарослях высокого иван-чая сбоку от крыльца трапезной. Оттуда почти ничего не было слышно, а говорили монахи негромко, зато был виден вход и ворота скита.

Лытка потом рассказал ему и о разговоре с монахами, и о приходе Дамиана. По словам Лытки, Дамиану устроили настоящую выволочку, как будто и не посмеивались перед этим над его прыткостью, и не восхищались его успехами. И уж конечно не позвали к себе в друзья, как решил до этого авва. Лытка чуть было не поверил в то, что его подслушивание перечеркнет будущее Дамиана. Монахи нисколько не сомневались в том, что Лытку послал настоятель приюта, но припомнили ему и жалобы Паисия, и его неумение держать себя в руках, и много других мелких прегрешений. Дамиан огрызался и оправдывался, ссылаясь на то, что Лытка должен был помогать Дюжу, но отлынивал от работы. На что ойконом, который несколько минут назад расхваливал работу отроков, не преминул заявить:

– Приютские дети часто относятся к послушаниям без должного рвения. Их работу приходится проверять, они все время ищут способа увильнуть от нее, и сегодняшний случай – не исключение, а закономерность. И это твой огрех! Стоит побольше внимания уделять отрокам, а не своим тщеславным замыслам. Почему бы не разъяснить чадам, что монастырь – это семья и что монахи не даром зовут друг друга братьями?

Ойконом сделал паузу, но Дамиан молчал, и, слушая рассказ Лытки, Лешек живо представлял его лицо: с виду спокойное, но с горящими глазами и бегающими по скулам желваками.

Ойконом продолжил, так и не дождавшись ответа:

– Благодаренье Богу, каждому из отроков повезло оказаться здесь, и мы заботимся о них не ради того, чтобы они на нас работали, но трудиться нам заповедал Господь, и вот этого-то

как раз твои воспитанники не понимают. Может быть, воспитателям надо почаще говорить с детьми о божественном? Как ты считаешь?

На это Дамиану пришлось ответить, и голос его был как будто спокоен:

– Разумеется, отец Гавриил. Мы сегодня же поговорим с детьми о божественном.

– Иди с глаз моих! – добродушно усмехнулся авва. – Надеюсь, ты сделаешь из этого разговора верные выводы.

Лешек видел, как Дамиан вывел Лытку на крыльцо, сжимая его руку чуть выше локтя. Лицо архидиакона перекосила гримаса брезгливой ярости:

– Ну что? Поговорим о божественном? – рявкнул он и тряхнул Лытку за руку.

Лытка и тут не испугался, и Лешек с ужасом смотрел на то, как его друг сам роет себе яму: ему достаточно было пересказать, что он услышал, для того чтобы Дамиан сменил гнев на милость. Но он промолчал, с вызовом глядя настоятельно в глаза.

– Шкуру спущу, – прошипел Дамиан и сдернул Лытку с крыльца вслед за собой. Видно, его задело бесстрашие мальчишки, потому что он поспешил добавить: – И не надейся на розги, это для тебя будет слишком ласково.

Лешек зажал рот рукой – Дамиан хочет наказать Лытку своей страшной плеткой! И в этом нет ничего удивительного: если авва не поверил, что Дамиан Лытку не посылал, то тому придется избить мальчика до полусмерти, если не до смерти, чтобы убедить авву в обратном.

Они проходили в двух шагах от головы Лешека, и тот зажмурился от страха: ему казалось, что Дамиан насквозь видит заросли иван-чая.

– Тебе запретили бить приютских плетью! – с вызовом ответил Лытка на его угрозы, и Лешек зажал рот еще крепче – что же Лытка делает! Зачем он грубит Дамиану? Или считает, что ему нечего терять? Так ведь есть, есть!

– Поговори, щенок! – Дамиан дернул Лытку за руку сильнее и потащил вперед, ускорив шаги. Если бы он так сжал руку Лешека, она бы наверняка сломалась.

– Не думай, что об этом никто не узнает! Я расскажу Паисию! – злобно процедил Лытка.

– Не успеешь... – хмыкнул Дамиан. Лешек не видел его лица, но легко его представил, и ему стало так страшно, что пересохло во рту. Надо что-нибудь сделать! Надо подбежать сзади и наброситься на Дамиана, чтобы Лытка успел вырваться и убежать! Но вряд ли они смогут одолеть взрослого мужчину даже вдвоем, а Дамиан славился силой и среди монахов. И если они не смогут убежать, то тогда будет ясно, что Лешек подслушивал тоже, и тогда... Нет, так действовать следует только для того, чтобы очистить совесть...

Может быть, войти в трапезную и сказать авве, что Дамиан собирается убить Лытку? Лешек вспомнил, с какой насмешливостью монахи обсуждали дела обители, и понял, что им наплевать, убьет Дамиан Лытку или нет: они, чего доброго, с улыбками восхитятся находчивостью Дамиана и возведут это ему в заслугу. И потом, ему и тут придется признаться, что он подслушивал тоже...

Дамиан уже провел Лытку через открытые ворота, а Лешек никак не мог решиться на какой-нибудь поступок и мучился, разрываясь между страхом, совестью, любовью и жалостью к другу и желанием ему помочь. Лытка бы на его месте не рассуждал – он бы действовал, отчаянно и бесстрашно.

Паисий! Вот единственный человек, который может помочь! Ему на Лытку не наплевать, он не любит Дамиана, он обязательно Лытку спасет! Но Паисий в летней церкви, а мимо нее лежит самая короткая дорога к приюту от восточных ворот.

Надо обогнать Дамиана, во что бы то ни стало! Успеть! Лешек хотел вскочить, но вовремя опомнился: настоятель уводил мальчика по тропинке в лес, и ему стоило лишь оглянуться, чтобы увидеть Лешека и все понять. Но как только они скрылись за деревьями,

на крыльцо вышел монах-сторож и внимательно оглядел скит. Лешек прижался к земле и зажмурился: он не успеет! Если он будет прятаться и дальше, то не успеет! Монах его не догонит, надо немедленно вставать и бежать! От страха дрожали коленки, Лешек собирався с духом, глубоко вздыхал, подбирался... но так и не решился подняться на ноги.

Монах стоял на крыльце целую вечность, но потом, оглядевшись как следует, все же начал снова обходить трапезную кругом. Лешек дождался, когда он скроется за стеной, – теперь надо было действовать тихо и быстро, а это он умел.

Он бежал через лес со всех ног, как заяц перепрыгивая через кочки, ныряя под развесистые еловые лапы, спотыкаясь о корни и разбивая коленки. Ему пришлось огибать прямую тропу, ведущую к скиту от восточных ворот, чтобы Дамиан не только не увидел его, но и не услышал.

Но как только он выскочил на открытое пространство перед монастырской стеной, так сразу понял, что опоздал: Дамиан подводил Лытку к воротам. Ни обогнать его, ни пробежать незамеченным Лешек ну никак не успевал! Ему пришлось снова ждать и мучиться страхом и угрызениями совести до тех пор, пока Дамиан не зашел на монастырский двор.

Лешек перелетел открытое поле, которое просматривалось со всех сторон, быстро, как ласточка, – вперед его подгонял страх быть замеченным – и побоялся бежать к летней церкви напрямик, пустился в обход, прячась в тени ограды скотного двора. Он видел удалявшуюся спину Дамиана, которому до дверей приюта оставалось всего несколько шагов.

Из окна летней церкви доносилось пение взрослых – красивый высокий голос выводил сложную мелодию канона, и снизу его подхватывал хор, разложенный на нескольких голосов. Мальчики так петь не умели, им было положено сидеть, слушать и учиться такой же слаженности и чистоте звуков. Лешек подумал об этом невольно, между делом.

Спевки Паисий устраивал на хорах, чтобы не мешать прибирать храм и готовить его к новой службе, да и голоса сверху звучали красивей и звонче. Лешек вбежал в церковь с бокового входа и крикнул, так громко, что у него самого заложило уши:

– Отец Паисий! Скорей! Пожалуйста!

И только после этого подумал, что Паисий по своей наивности запросто может сказать Дамиану, кто его позвал. Но было поздно: его крик гулко разлетелся под деревянными сводами, и хор замолк, а Паисий посмотрел вниз.

– Скорей, спаси Лытку! Дамиан хочет убить Лытку!

Вообще-то орать в церкви было не положено, и за одно это Лешеку могли устроить изрядную выволочку. Да и такое обращение к иеромонаху несколько нарушало приличия... И Дамиана следовало назвать отцом Дамианом... Лешек растерялся, испугавшись того, что сделал, но отец Паисий понял, что случилось, и простил эту наглую выходку. Во всяком случае, ничего Лешеку не сказал, а очень быстро начал спускаться вниз, едва не спотыкаясь на крутых ступенях.

Вместе с ним к приюту направились двое здоровенных певчих, из чернецов, и это Лешеку понравилось больше всего – ведь Дамиан мог и не послушаться Паисия.

Лешек не смел просить их двигаться быстрее – иеромонах и так перебирал ногами со всей возможной торопливостью, – но сам успел добежать до дверей приюта и вернуться обратно и снова побежал вперед. Он был уверен, что они опоздают!

Но Дамиан явно не ожидал, что ему кто-то может помешать, да еще и в его собственной вотчине, поэтому никуда не торопился. И вышло все гораздо лучше, чем могло бы: появившись Паисий на минуту позже – и Лытку могли и не спасти, а секундой раньше – Дамиан бы отговорился и выпроводил монахов восвояси.

От дверей приюта хорошо была видна трапезная, и один из певчих – помоложе и пособразительней – бегом пронесся по коридору. Лытка был привязан к лавке, и Дамиан занес над ним плеть, когда Паисий крикнул:

– Остановись, Дамиан! Ты убьешь дитя!

Впрочем, остановили архидиакона не слова иеромонаха, а твердые руки певчего. Лешек побоялся зайти в трапезную, наблюдая за происходящим у двери в спальню, готовый в любую секунду за этой дверью скрыться. Он думал, что воспитатели придут Дамиану на помощь, но те только отступили в сторону, не желая вмешиваться: они боялись настоятеля, но его выходку вряд ли одобряли.

Дамиан сопротивлялся и сквернословил, и, надо сказать, двоим певчим с трудом удалось его скрутить. Паисий негодовал: его подбородок дрожал от возмущения и руки сжимались в кулаки, чего Лешек от иеромонаха не ожидал.

– Не сомневайся, после этого я добьюсь, чтобы тебя убрали из приюта! – выговорил он с тихой злобой, но Дамиан с заломленными за спину руками только рассмеялся ему в ответ.

– Развяжите отрока, – велел Паисий воспитателям. – Я не знаю, в чем он виноват, но смертью прегрешения ребенка карать не стоит.

Воспитатели переглянулись и не посмели послушаться.

– Мы пойдем к авве, – сообщил иеромонах и с достоинством кивнул ухмылявшемуся Дамиану, – и он сам решит, что с тобой делать.

Лешек благоразумно спрятался за дверь и, когда Паисий увел Дамиана, сидел тихонько в спальне, надеясь, что Лытку отпустят и они сообща решат, что делать дальше. Но Лытку не отпустили, а заперли в кладовой, и Лешек снова испугался: если кто-нибудь зайдет в спальню, то сразу догадается, что Паисия позвал Лешек, и Дамиан ему этого никогда не простит. Он сел на пол за кроватями, чтобы его нельзя было увидеть от двери, но не сомневался: его обязательно начнут искать и найдут.

А потом вспомнил, что все певчие, и мальчики, и взрослые, видели и слышали, как он позвал Паисия. И кто-нибудь обязательно расскажет об этом воспитателям, а те доложат Дамиану. От этого ему стало еще страшней, почти до слез. Он думал про Лытку: ведь авва ни за что не уберет Дамиана из приюта, теперь это ясно, как божий день. И что будет, когда Дамиан вернется? Что он сделает с Лыткой?

Лешек дрожал в спальне до самого обеда – службу он пропустил, потому что боялся высунуть нос в коридор.

Дамиан появился в приюте, когда мальчики обедали, и, как ни странно, был весел и доволен собой. Он зашел в трапезную, обвел глазами своих воспитанников, поманил рукой Леонтия и сказал, нарочно громко, чтобы его все слышали:

– Разузнай, кто сдал меня Паисию. Хотя, я, наверное, и сам догадаюсь...

Он снова внимательно посмотрел на ребят, и Лешеку стоило большого труда не сползти под стол: ему казалось, что Дамиан давно понял это и теперь просто играет с ним, как кошка с мышью. Да и глаза певчих непроизвольно косили в его сторону.

Лытку не выпустили из кладовой до ужина, а после ужина все равно высекли, «взрослыми» розгами, и настолько сильно, что он не смог сам встать с лавки – Леонтий постарался угодить Дамиану. Лешек жмурил глаза и вздрагивал от каждого удара, но Лытка ни разу даже не застонал.

Двое ребят постарше помогли ему дойти до спальни и уложили на кровать, и только тут Лешек увидел, что Лытка прокусил себе губу до крови. Лешек присел около него на колени и расплакался от жалости: как бы его друг ни храбрился, розги все равно ободрали кожу на спине.

– Лытка, – Лешек погладил его руку, – Лытка, тебе очень больно?

Лытка повернул голову в его сторону, слегка зажмурив один глаз.

– А чего ты реवेशь? – спросил он и улыбнулся.

– Просто.

– Да ты чего, меня жалеешь, что ли? – он улыбнулся еще шире.

– Ну да...

– Не реви, все хорошо! – он неловко положил руку Лешеку на голову и пошевелил его волосы. – Это чепуха! Вот если бы Дамиан меня плеткой высек, то еще неизвестно, был бы я сейчас жив или нет. А это – чепуха!

Лешек кивнул: наверное, Лытка прав. Но плакать все равно не перестал.

– Знаешь, я очень хочу узнать, кто позвал Паисия, – Лытка кряхтя повернулся на бок, к Лешеку лицом. – Ну, спасибо сказать... и вообще – за такое я не знаю, чем и расплачиваться буду.

– Лытка, так это же я... – Лешек улыбнулся сквозь слезы: наконец-то и он сумел сделать для друга нечто такое, что тот ценит очень высоко. Единственное, что омрачило его радость, так это то, что Лытка мог бы и сам догадаться об этом. А так получалось, будто он совсем в Лешека не верил.

Но Лытка почему-то не обрадовался этому, а наоборот – сел на кровати и поднял Лешека за локти, чтобы не смотреть на него сверху вниз. И лицо у него стало встревоженным и напряженным. Он подозрительно осмотрелся по сторонам, убедился в том, что никто к ним не прислушивается, но все равно перешел на шепот:

– Да ты что? Это ты?

– Ну да...

– Лешек... – Лытка вздохнул и опустил голову. – Зачем же ты это сделал? Ты понимаешь, что ты сделал?

– Понимаю.

– Ничего ты не понимаешь... – Лытка сжал губы. – Я же ничего не смогу сделать, вообще ничего. Не могу же я сказать, что это я позвал Паисия...

– Зачем? – не понял Лешек.

– Я сейчас пойду к нему и попрошу, чтобы он сам что-нибудь придумал. Его же кто угодно мог позвать, правильно? Кто-нибудь из послушников, например.

– Лытка, ляг! Не надо! Дамиан все равно понял, что это я! И Паисия ты можешь встретить завтра, ведь правильно? И ребята видели, как я его позвал. Кто-нибудь меня сдаст, вот увидишь.

Лешек говорил это и страха не чувствовал. Он вдруг начал очень гордиться собой, и ему совсем не хотелось, чтобы Лытка думал, будто он жалеет о сделанном и боится гнева Дамиана.

Лытка обвел спальню взглядом исподлобья и громким баском сказал:

– Значит так! Тому, кто хотя бы намекнет воспитателям, что это Лешек позвал Паисия, я ноги вырву, и жить в приюте ему придется ой как несладко. Все поняли?

Обычно ребята его слушали, но Лешек понимал: если кто-нибудь его сдаст, его друг просто не узнает о том, кто это сделал.

Когда они улеглись спать, после рассказов и обсуждений случившегося, Лытка неожиданно окликнул его:

– Лешек, ты спишь?

– Нет. А что?

– Лешек, ты мой самый лучший друг.

У Лешека от счастья на глаза навернулись слезы, и он не смог ответить.

7

Снег скрипел. Не очень громко, но Лешек настораживало и это. Монахи переговаривались за его спиной – потихоньку; разобрать, о чем они говорят, он и не пытался. Они шли так близко, что могли услышать не только скрип снега, но и его дыхание. Но другого пути у него все равно не осталось.

Лешек сознавал, насколько рискует и чем. Внутри него натянулась тугая струна, которая грозила вот-вот лопнуть и вытолкнуть наружу панику. Но ее натяжение одновременно создавало полную сосредоточенность. Ни одного лишнего движения. Ни одного лишнего звука, вдоха, удара сердца. Чувства обострились: он видел все, что мог увидеть, и слышал все, что мог услышать.

Белое поле, расстелившееся за кромкой леса, просматривалось со всех сторон и темным не казалось. Лешек легко разглядел черные тени конных монахов, окруживших слободу. В отличие от них, он был не столь хорошо заметен на снегу.

Узкая дорожка следов вела к слободе, и снег вокруг нее доходил Лешеку до середины бедра – пригнувшись, он мог легко спрятаться от случайного пристального взгляда. Он скользнул по тропе снежной тенью, светлой, как и пространство вокруг, – никто не заметил его передвижения, никто не поднял тревогу и не направил коней в поле.

За нешироким оврагом, засыпанным снегом до самого верха, вокруг слободы бежала прохажая утоптанная тропа, по которой время от времени проезжали всадники, всматриваясь в кромку леса. Лешек притаился в глубоком снегу оврага – монахи, проложившие узкую дорожку, здесь проходили к полю и здесь же вернутся обратно. Именно поэтому конные так часто останавливались на этом месте: они ждали вестей от прочесывавших лес. И стоит только кому-то из тех, кто видел его следы, выйти на край поля и дать конным знак, как его тут же обнаружат.

Лешек слушал конский топот, долго выбирал минуту и в конце концов решил: поднялся наверх и юркнул через тропинку к тени заборов, окружавших слободские дома, слился со сплошными деревянными заборами. Здесь его следов не найдут: единственная улица слободы была не только растоптана, но и раскатана, как ледяная горка. Он побоялся бежать – быстрое движение всегда заметней спокойного. Собаки, потревоженные монахами, и так лаяли в каждом дворе, появление еще одного человека не сильно их разволновало.

Один из всадников свернул на улицу и пронесся мимо замершего Лешака так близко, что тот лицом почувствовал тепло, шедшее от разгоряченных боков коня. Но всадник смотрел вперед, а не по сторонам. И тут же с тропы послышались крики; вслед за первым по улице промчались еще трое всадников, и Лешек понял, что монахи, нашедшие его следы, дали знать об этом конным. Интересно, они догадались, что он прошел по их следам? Если еще не догадались, то догадаются. Не сейчас, так на рассвете.

Он перевел дух и успокоил бешено бившееся сердце. Пока его никто не заметил и нет причин для паники. В слободе было около тридцати дворов, Лешек прошел до самого конца улицы – монахи теперь собрались на другой стороне, и здесь его никто не ждал. Зайти в крайний дом показалось ему неосмотрительным, и он выбрал третий с южной стороны, потому что в нем не было собаки. Пробраться в него огородами означало не только появиться на открытом пространстве, но и наследить. Лешек примерился, подпрыгнул и ухватился руками за обитую железом верхнюю кромку ворот.

Пальцы приклеились к железу, несмотря на то что оставались совершенно холодными – греть руки Лешек не решался с тех пор, как услышал прочесывавших лес монахов. Один рывок. Всего один, последний рывок. Очень быстрый: зависнуть над темным забором и дать рассмотреть себя издали в его замыслы не входило. Руки не хотели подтягивать

его вверх, онемевшие пальцы нестерпимо заломило от холода. Лешек стиснул зубы, кое-как подтянулся, неловко перевалился через ворота и рухнул вниз, на утоптаный снег двора. Удар о землю показался ему очень громким и очень болезненным. Пальцы жгло – кожу он оставил на кромке ворот.

В доме еще спали. Во всяком случае, так Лешек показалось. Он осмотрелся и заметил под крыльцом низкую дверцу. Ходить по двору и искать другие входы он не решился и нырнул в темноту подклета: дверь не скрипнула. В подклете было гораздо теплей, чем на дворе, но не настолько, чтобы согреться. Лешек ощупью пробрался на другую сторону дома, двигаясь на запах хлева, – наверняка это самое теплое место в доме, но и самое опасное: скотина может испугаться чужака и поднять шум. Да и выйдет хозяйка к скотине затемно.

Но если он не согреется, то не сможет идти дальше, мороз в конце концов убьет его. Пока его не начали искать, надо пользоваться передышкой. В лес ему все равно не уйти – он наследит, и с рассветом в поле его следы обнаружат в несколько минут. Может быть, хозяева сжалются над ним, если найдут? Помогут спрятаться? Он не сомневался в том, что дома обыщут еще не раз, когда догадаются, что он ушел в слободу по их собственным следам.

Лешек почуял запах лошади – наверное, именно лошадям он доверял больше всего, хоть и понимал, что из всех обитателей хлева лошадь испугается быстрее остальных. Но конь лишь тихонько заржал, будто приветствовал его, и не поднялся с соломы – спокойный, ленивый битюг, не иначе. И даже волчий полушубок не напугал его – то ли потерял запах зверя, то ли хозяин лошади тоже носил волчий мех, что было бы неудивительно. Лешек привык к темноте, но ровно настолько, чтобы не наткнуться на стены. От коня веяло теплом, и Лешек нашел его голову ощупью, протянул на ладони немного пшена, чем окончательно его успокоил, и лег на солому рядом с огромным горячим телом, подальше от копыт, уповав на то, что умное животное не станет давить его своей спиной.

Сразу уснуть ему не удалось – он согревался медленно, дрожа от озноба. Руки, прижатые к спине лошади, ломило долго и нестерпимо, колени, едва прикрытые полушубком, саднило, как будто с них сорвали кожу, лицо горело и ныло. Лешек лежал, кусая губы, и думал, что надо было стряхнуть с полушубка снег, но встать и сделать это ему не хватило силы. Он не заметил, как заснул – словно провалился в черную яму, – и сон его больше походил на глубокий обморок.

В двух шагах стукнула дужка ведра, и он проснулся, не понимая, где он и что с ним происходит. Ему все еще было холодно, очень холодно, но это был не тот холод, что мучил его в лесу – скорее, его просто знобило.

Гладкая теплая шкура рыжего коня нервно подрагивала во сне, а в высокие маленькие окна пробивался скудный свет. Но Лешек все равно не разглядел хлева из-за загородки, только уловил движение через широкую щель между досками. И вскоре услышал, как тонкие струйки молока упруго и глухо бьются в деревянное доньшко ведра: хозяйка доила корову. Лешек почувствовал невыносимый голод – рот наполнился слюной, скрутило желудок: он представил себе кружку густого теплого молока, не процеженного, пенистого, пахнущего коровой. За эту кружку он готов был отдать сейчас все что угодно. Что если попросить у хозяйки молока? Что ей стоит? Право, они не обеднеют...

Лешек прогнал из головы соблазнительные мысли, представив, как испугается хозяйка и какой поднимет крик. И если рядом с домом есть хоть один монах, они немедленно будут здесь, все. Ведь уже рассвело, они должны были понять, что он в слободе (больше ему спрятаться негде), и наверняка обыскивают дом за домом. Может быть, ему повезет и хозяйка его не заметит? И тогда он найдет здесь более укромное место, даже если оно будет и не таким теплым.

Хозяйка, закончив доить корову, унесла ведро, и Лешек вздохнул с облегчением, когда услышал шаги на лестнице. Но она не стала подниматься в дом: поставила ведро на ступеньки и вернулась, чтобы накормить скотину.

У нее был нежный, высокий голос, немного певучий и очень ласковый – она говорила с каждой животиной, называла смешными добрыми именами, и Лешеку совсем не хотелось ее пугать. Конь, догадавшись, что сейчас ему тоже что-нибудь достанется, поднялся на ноги и заржал, высунув голову из своей клетушки. Лешек отполз в дальний ее угол, сел и прижал колени к подбородку, стараясь стать невидимым.

Хозяйка наконец распахнула дверь загородки, за которой стоял конь. Она оказалась совсем молоденькой девушкой, лет пятнадцати, и не хозяйкой вовсе, а скорей всего ее дочерью. Пухленькая, румяная, с широким курносым лицом и толстой косой, обернутой вокруг головы, в меховой безрукавке, надетой поверх рубахи.

Она хотела кинуть огромный пук сена в кормушку, как вдруг увидела Лешека. Сено выпало у нее из рук, и она уже раскрыла рот, чтобы набрать побольше воздуха и крикнуть, но он приложил к губам палец и прошептал:

– Не выдавай меня. Пожалуйста.

Испуг на ее лице сменился любопытством: она закрыла рот и посмотрела на Лешека, хлопая удивленными глазами.

– Я ничего плохого тебе не сделаю... – добавил Лешек на всякий случай.

Девушка медленно кивнула, о чем-то раздумывая, а потом спросила, тоже шепотом:

– Это ты убежал из Пустыни?

Лешек кивнул.

– А нам сказали, что ты вор. И пообещали тятэ два мешка зерна, если мы тебя найдем. Ты правда вор?

Лешек подумал, что крусталь он не воровал, он просто забрал у Дамиана то, что тому не принадлежит, и ответил:

– Я ничего у вас не возьму, честное слово.

Девушка, все еще раздумывая, подобрала сено из-под ног и сгрузила его в кормушку. Конь, до этого пригибавший голову к полу, выпрямился и закрыл Лешека от девушки, но она зашла поглубже в его клетушку и хлопнула битюга по ляжке, чтобы он подвинулся.

– А что ты украл у монахов?

– Я взял свою вещь, которую они у меня отобрали, – Лешек немного покривил душой, но в целом, наверное, так оно и было.

Девушка понимающе кивнула.

– Послушай, – Лешек вздохнул и закусил губу, но не удержался, – ты не можешь дать мне немного молока?

– Конечно. Погоди, – она выскользнула из клетушки, и Лешек встал вслед за ней. Он думал, что она поднимется в дом за кружкой, и тогда родители ее все поймут, но она нашла где-то плоскую большую миску и налила молока туда.

У него тряслись руки, и молоко из миски, над которой поднимался едва заметный парок, чуть не пролилось на пол. Лешек глотал его жадно, рискуя поперхнуться, и не мог остановиться даже чтобы вздохнуть: наверное, он никогда не был таким голодным.

– Хочешь хлеба? – спросила девушка, во все глаза глядя на то, как Лешек пьет. Ему стало неловко, но он кивнул, не отрываясь от молока.

– Монахи тебя во всех домах искали, – сказала она, – и у нас тоже. Везде искали, даже в сено вилами тыкали... Если еще раз придут, то здесь тебя найдут точно. Я, наверное, тятэ скажу, что ты у нас. Ты не бойся, тятя добрый и монахов не любит.

Лешек подумал, что все будет зависеть от того, насколько тятэ нужны два мешка зерна, чтобы ради них плюнуть на нелюбовь к монахам: у него семья, которую надо кормить до сле-

дующего лета. Вряд ли крестьянин пожалеет пришлого человека настолько, чтобы отказаться от такого богатства.

– Да не бойся, – повторила девушка, – не надо тятье это зерно. Правда.

Лешек робко пожал плечами и протянул ей пустую миску. Но, с другой стороны, только хозяин дома сможет спрятать беглеца так надежно, чтобы монахи не смогли его найти.

Девушка убежала наверх, и вскоре хмурый приземистый крестьянин, стреляя во все стороны быстрыми темными глазами, спустился в хлев и подозрительно осмотрел замершего Лешека с головы до ног. Впечатление доброго тятя не производил.

– Ты вор? – строго спросил он, закончив осмотр.

– Нет, – ответил Лешек.

– Это правда, что ты сорвал крест, когда уходил?

– Правда, – Лешек вздохнул и опустил голову – обманывать он не хотел.

– Пошли, – хозяин коротко кивнул и направился к лестнице. Лешек не понял, собирается он его сдать или, напротив, согреть и накормить, но повиновался.

В зимней части дома места было очень мало, и каждая его пядь имела свое предназначение. Три детские мордашки выглядывали с полатей, перед печью возилась хозяйка, две большие девочки сидели на сундуке за прялками и еще одна перебирала крупу на длинном узком столе. Во дворе слышались мальчишеские голоса, наверняка принадлежавшие старшим сыновьям, – детей у хозяина было много. На втором сундуке, придвинутом к печке, неподвижно лежал старик, уставив глаза в потолок.

– Раздевайся, – велел хозяин, и Лешек вздохнул с облегчением: похоже, его не собирались выдавать. В доме было очень тепло, даже жарко, но, раздевшись, он снова почувствовал озноб.

Хозяйка подхватила полушубок Лешека, осмотрела его со всех сторон и повесила поближе к печке. Сапоги долго рассматривал сам хозяин и качал головой – они ему понравились. Шапку Лешек снял, когда входил в дом.

– Мать, дай ему хлеба, – к жене хозяин обратился скорее просительно, чем сурово. – А ты полезай на печь. Обморозился небось?

– Только руки. Немного, – ответил Лешек, поднимаясь на полати, где трое малых в рубашонках подвинулись, освобождая ему место, и с любопытством уставились на него темными, как у отца, глазами.

Хлеб был теплым – хозяйка не пожалела, отломила от каравая почти четвертушку, и Лешек немедленно впился в него зубами, но смутился и замер, так и не решившись вытащить хлеб изо рта.

– Да ешь, ешь, – хозяин впервые улыбнулся.

– Спасибо, – еле слышно выговорил Лешек и почувствовал, как слезы комком встают в горле.

* * *

Довольное лицо Дамиана Лытка пояснил Лешеку легко: наверняка авва сообщил ему, что отцы обители принимают его в свой круг, чем, скорей всего, и спас Лытку от смерти. Во всяком случае, его Дамиан больше не трогал. Разумеется, Лешека кто-то выдал, может быть и ненарочно, но Дамиан остерегся наказать его в открытую (видно, Паисия все же побаивался). Или это авва посоветовал ему не злить иеромонахов. Но взгляды, которые Дамиан бросал на Лешека время от времени, говорили сами за себя.

А Лешек, однажды ощутив, как, оказывается, здорово гордиться собой и ничего не бояться, уже не сползал под стол, но глаза опускал, чтобы Дамиан случайно не увидел

в них торжества: ведь ему удалось спасти Лытку! И ничего больше значения не имело, он теперь ни секунды не жалел о содеянном.

Дамиан же был деятелен как никогда, глаза его блестели, на губах играла неизменная улыбка. Из старших мальчиков приюта он начал сколачивать собственную «дружину», а потом стал привлекать туда и ребят помладше, выбирая крепких, хорошо сложенных и бесстрашных. Как ни странно, насильно в «дружину» он никого не тянул, всегда предлагал выбор: прежнее послушание или занятия воинским искусством. И, несмотря на то, что Дамиана мальчишки боялись, в его «дружину» мечтал попасть каждый. Во-первых, «дружники» тут же становились избранными в приюте: их лучше кормили, прощали мелкие грешки, давали больше свободы. Во-вторых, для мальчиков это было необычайно привлекательно – вместо скучного скотного двора они занимались настоящим, «мужским» делом. Дамиан, не полагаясь на свои умения, привез в монастырь учителя – старого, закаленного в боях вояку, искушенного в подготовке молодых бойцов.

К зиме «дружина» прочно встала на ноги и начала не только задира́ть нос перед остальными ребятами, но и устанавливать в приюте свои порядки. Лытка, со злостью принимавший все, что исходило от Дамиана, и «дружину» возненавидел с первого дня ее существования. И по возрасту, и по телосложению, и по характеру он лучше многих подходил Дамиану, но настоятель не спешил его звать. А когда в конце концов предложил Лытке стать «дружником», тот отказался. Наверное, в приюте он был такой один, и Лешек еще сильнее начал гордиться своим другом, хотя и предостерегал его от мести Дамиана. Но, как ни странно, с Лыткой архидиакон связываться не стал.

К следующему лету в «дружину» Дамиана входили не только приютские мальчишки, но и некоторые послушники – помоложе и посильней.

– Они будут воевать с князем Златояром, – пояснял Лытка Лешеку, – чтобы князь не обирал монастырские земли.

Лешек не сильно этим интересовался – пожалуй, единственное, в чем его убедил опыт прошлого лета, так это в том, что влезать в дела отцов обители очень чревато. Каждый из них имел какие-то свои, непонятные интересы, и всегда можно было угодить между молотом и наковальней. Впрочем, Лытка тоже все меньше говорил об этом. Во-первых, он терпеть не мог «дружников» и, даже косвенно, не желал признавать их пользу для обители, во-вторых, как бы он ни изображал бесстрашие и невозмутимость, случай с Дамианом здорово его напугал. Ну а в-третьих, у него сломался голос, из резкого мальчишеского превратившись в глубокий и бархатный. Паисий, до этого не считавший Лытку особо одаренным, теперь занимался с ним с утроенной силой. Голос открывал перед мальчиком до этого закрытые возможности: хороший певчий, как правило, становился монахом, едва достигнув тридцати лет (до тридцати лет по уставу в монахи не переводили никого).

В начале лета Лешек посетил нехорошее предчувствие. Предчувствия посещали его довольно часто и, как правило, бывали нехорошими. Но в этот раз к нему примешалась какая-то чистая, звенящая печаль, похожая на грустную песню.

– Знаешь, Лытка, – как-то раз пожаловался он другу, – мне кажется, что я скоро умру.

– Да ну тебя! – фыркнул Лытка. – С чего ты это взял?

– Мне так кажется. Я смотрю на все вокруг, и у меня такое чувство, что вижу это в последний раз. Как ты думаешь, в аду очень страшно?

– Конечно! А то ты не знаешь!

Лешек знал, и к его чистой печали добавился неприятный, сосущий страх: что если предчувствие его не обманывает и он действительно умрет и попадет в ад? Что он будет там делать? Без Лытки, совершенно один? Он представлял себе служителей ада похожими на Дамиана: с глумливыми улыбками, плетками за поясом, в черных клобуках и рясах. И как только Лешек окажется в их власти, ничто не помешает им мучить его сколько им захочется

и радоваться его мучениям, смеяться над его криками и слезами. От таких мыслей Лешек холодел и мурашки бегали у него по всему телу.

В первый раз он столкнулся с колдуном в июле, когда их отправили за ягодами. Про колдуна знали все и очень его боялись. Когда Лешек был маленьким, он думал, что колдун ворует из приюта детей, а потом их ест – об этом им много раз рассказывали воспитатели. Но, разумеется, став постарше, перестал верить в эту чушь. Зачем бы тогда его стали звать в монастырь, если он людоед? Но что-то нехорошее и даже страшное за колдуном все же водилось. И если Дамиана Лешек боялся до дрожи в коленках, то при виде колдуна его охватывали нехорошие предчувствия: нечто гнетущее мерещилось ему в мрачной фигуре колдуна, неизменно закутанного в серый плащ, темноволосого, с хищным, острым, скуластым лицом, с гордо развернутыми плечами. Колдун был довольно молод, не старше отца Дамиана, но Лешек считал почему-то, что ему не меньше трехсот лет от роду.

Летом он приезжал редко, обычно во время литургии, – чтобы никто ему не мешал и никто на него не глазел, но частенько задерживался в больнице и дольше, если того требовали обстоятельства: колдуна звали лечить те болезни, с которыми не справлялся больничный. А больничный, надо сказать, лечить никого не умел. Зимой же, если кто-то из монахов заболел серьезно, за колдуном посылали сани. Колдуну хорошо платили за его работу, и по его виду было понятно, что он человек небедный – и его одежда, и его конь стоили немалых денег.

А еще колдун не верил в Бога. Это знали все, но монахам приходилось мириться с этим – ни одного лекаря, который мог бы сравниться с колдуном, в округе не было. В этом отцы обители проявляли редкое ханжество: порицая колдуна за его язычество, осеняя себя крестным знамением, утверждая, что болезни следует лечить постом и молитвой, они пользовались умениями колдуна безо всякого зазрения совести. Конечно, ему было поставлено условие при лечении использовать только травы, а не его колдовскую силу, но в трудных случаях колдун мог забрать больного к себе и там без монахов решать, какое лечение применить.

Лешек старался не смотреть в его сторону, если примечал колдуна во дворе монастыря – если он детей не ел, то уж обратить в камень мог совершенно точно. Или наслать какую-нибудь болезнь, или сделать еще что-нибудь такое, страшное и опасное. Лешек каждый раз хотел укрыться от взгляда колдуна или хотя бы спрятать лицо в ладонях.

Выходы в лес всегда были для приютских праздником, Лешек же любил их особенно. В лесу он мог петь сколько угодно: воспитатели не ходили с мальчиками, и даже случайно подслушать его никто не мог. Собирать чернику он тоже любил и всегда помогал в этом Лытке. Во-первых, есть ягоды он не успевал, потому что рот его занимали песни, а во-вторых, его тонкие пальцы легко снимали с куста ягодку за ягодкой, в то время как Лытка их давил, срывал вместе с листьями и чаще клал в рот, чем в корзинку.

Лешек в одиночестве сидел в черничнике (ребята успели перебраться подальше в лес, в поисках более крупных ягод) и пел, довольно громко, наслаждаясь тем, как легко разносится голос меж деревьев. Он не услышал топота копыт, приглушенного мягкой, мшистой землей леса, и заметил всадника, только когда его накрыла серая тень. Лешек замолк и втянул голову в плечи: песня явно не предназначалась для ушей монахов, и теперь ему не миновать наказания. Он робко поднял глаза и хотел слезно попросить не рассказывать об этом воспитателям, не особо надеясь на успех. Но, увидев в двух шагах колдуна, так и не смог выдать из себя ни слова. Вблизи колдун оказался еще страшней, и пристальный взгляд его черных глаз заставил Лешека немного отползти назад. Он подумал, что колдун – это посланник ада, и предчувствие, посетившее его в начале лета, сейчас начнет исполняться.

– Где ты услышал эту песню, малыш? – спросил колдун. Голос у него был хриплый, каркающий.

– Нигде, – тихо ответил Лешек. Ему было двенадцать, малышом он себя не считал, и то, что он отставал в росте от сверстников, сильно его задевало.

– Но ты же пел ее, разве нет? – колдун легко спрыгнул с коня и подошел еще ближе, отчего Лешек вдруг вспомнил рассказы воспитателей, и теперь ему не показалось, что все это чушь: что если колдун действительно ворует и ест детей? Иначе зачем он подошел так близко?

Отпираться было бесполезно, и Лешек кивнул.

– Так откуда ты ее знаешь? – колдун улыбнулся. Наверняка улыбнуться он хотел по добром, но у него это не получилось.

– Я сам ее придумал, – пробубнил Лешек себе под нос, подозревая, что колдун от него все равно не отстанет.

– Вот как? – тот поднял брови и наклонил голову набок, рассматривая Лешека, словно забавного зверька. – Ну-ка, спой ее еще раз.

Лешек поперхнулся, но колдун глянул на него своими черными, хищными глазами, и он не посмел послушаться. Если колдун не верит в Бога, он не пойдет жаловаться воспитателям.

Сначала голос дрожал и срывался, но колдун стоял молча, и постепенно Лешек осмелел, песня легко поплыла над лесом, и, как всегда, он почувствовал необыкновенную радость от того, что его слушают. Песня была о злом боге, который, поднявшись на небо, убил остальных богов, для того чтобы стать там единственным. И кончалась она очень красиво и печально: злой бог сидит на небесном троне и вершит страшный суд, и никто не может его остановить.

Лицо колдуна исказилось каким-то спазмом, он глубоко вдохнул, запрыгнул на коня и сказал, прежде чем сорвать лошадь с места:

– Никогда не пой эту песню монахам, детка.

Лешек хмыкнул: а то он без колдуна об этом не догадывался! И еще раз обиделся на «детку». Однако вздохнул с облегчением: на этот раз колдун не стал его воровать или превращать в камень, и в ад тоже не потащил. Может, он наслал на него неизвестную болезнь, которая проявится только через несколько дней?

Лешек целую неделю вспоминал колдуна и искал в себе признаки страшной болезни.

В начале августа по монастырю пронеслась весть о том, что через две недели в обитель приезжает архимандрит: епархия собиралась проверить, насколько Пустынь соответствует своему предназначению. Поговаривали, что вместе с архимандритом приедет и князь Златояр, как будто в паломничество, с женой и дочерьми.

Паисий очень волновался, разрываясь между хором и своими помощниками, на которых давно возложил уход за храмом. Впрочем, волновался не он один. Дамиан заставил мальчиков вылизать приют, усиленно кормил их в каждый скоромный день, велел починить одежду и сам проверял, насколько ухоженными и опрятными выглядят дети. Он свернул занятия с «дружиной» и появлялся в трапезной каждый день, проверяя, хорошо ли мальчики едят.

Уничтожающе оглядывая Лешека, Дамиан кривил лицо.

– Ну что ж ты такой тощий-то? – спрашивал он, больно сжимая шею Лешека двумя пальцами. – Портишь впечатление от приюта. Надо бы тебя отправить в скит, так ведь кто же будет петь архимандриту?

Лешек обмирал, но, впрочем, Дамиан не злился, просто волновался.

Он велел воспитателям поить Лешека молоком трижды в день, невзирая на постные дни, а когда кто-то намекнул Дамиану на то, что он вводит ребенка в грех, заявил, что грешит не отрок, а он, Дамиан, – ему и каяться. Лешек давился этим молоком – столько ему было просто не выпить, – но и вправду через неделю щеки его немного порозовели и округлились.

Постепенно волнение монахов передалось и детям, вся обитель сбивалась с ног, бегала, мыла, чистила, наводила порядок. Службы больше напоминали смотры, после которых разбирали ошибки и раздавали подзатыльники. Паисий велел певчим беречь голоса, но при этом заставлял их петь до хрипоты.

Лешек ждал приезда архимандрита с ужасом: нехорошее предчувствие, появившееся еще в начале лета, заставляло его просыпаться по ночам в холодном поту. Он не сомневался, что сделает что-нибудь не так, и тогда не только Дамиан, но и Паисий никогда ему этого не простит. Лытка посмеивался – он всегда посмеивался над нехорошими предчувствиями и смутными сомнениями Лешека, и тот обычно не обижался, но сейчас со злостью думал, что Лытка будет петь в хоре, да еще и со взрослыми, где его голос прикроют более опытные монахи. Лешеку же предстояло петь одному, и его ошибки не скроешь ни от кого.

Ощущение конца, страшного конца не покидало его. Он боялся не наказания, а чего-то куда более ужасного. Одна ошибка – и жизнь его не будет такой, как раньше, если будет вообще. По ночам ему казалось, что над его головой кружатся вороны, и косят на него блестящие черные глаза, и ждут, когда наконец можно будет спуститься и клевать его брненное, никому не нужное тело тяжелыми твердыми клювами.

Чем ближе подбирался день приезда архимандрита, тем сильнее становилось всеобщее напряжение, тем меньше Лешек спал, а под конец вообще ходил по монастырю тенью и непрерывно дрожал от волнения. Единственный человек, который мог его утешить, – Паисий – и сам стал беспокойным: у него все время тряслись руки, он лихорадочно оглядывался по сторонам, иногда кричал на мальчиков и, похоже, тоже не спал ночами.

Если Лешек ошибется, если что-нибудь сделает не так, если не сможет произвести нужного впечатления, которого от него все ждут, в котором никто, кроме него самого, не сомневается, – на этом закончится все. Представить себе жизнь после этого Лешек не мог, а смерть разверзала перед ним огненную бездну, и служители ада манили его пальцами и улыбались, предвкушая, с каким удовольствием начнут жарить его на сковороде. Язык Лешека присыхал к нёбу, и на лбу выступали капельки пота.

А нужно-то было всего лишь спеть как обычно, не лучше и не хуже. Лешек никогда не боялся петь, это давалось ему легко, как дыхание. И он так хотел спеть хорошо, так хотел понравиться гостям, и порадовать Паисия, и угодить Дамиану, и знал, что вся обитель будет гордиться им и хвалить его! Он так хотел оправдать их надежды, и жизнь после этого вновь заиграла бы яркими красками, все вернулось бы на круги своя. Он мечтал о том, как службы закончатся и как блаженно он уснет в воскресенье вечером и проснется на следующий день счастливым.

Архимандрит должен был прибыть в субботу вечером, на всенощную, но в пути их задержала непогода, и приехали гости только на рассвете, когда всенощная подходила к концу. Обычно утром в воскресенье Лешек засыпал как убитый, и Лытке с трудом удавалось разбудить его на исповедь, но в этот раз он не уснул ни на секунду.

Исповедь принимали сам архимандрит, его помощник и авва. Лешек благоразумно пристроился к авве – он и ему не знал, в чем покаяться, и не придумал ничего лучшего, как признаться в том, что пил молоко в постные дни. Авва ласково ему улыбнулся, накрыл епитрахилью и шепнул, что в этом нет ничего страшного: главное, чтобы Лешек хорошо пел сегодня на литургии.

От этого напутствия стало еще хуже: сам авва возлагал на него надежду! Казалось, что вся обитель смотрит на него и ждет чего-то особенного. Как будто только от него зависит, насколько архимандриту понравится Пустынь, и, наверное, это было недалеко от истины: своим пением он мог растопить самое суровое сердце. Дрожь усиливалась с каждой минутой: если что-то не получится, он не сможет больше жить. Он должен, он обязан спеть

хорошо, чтобы авва остался доволен. Иначе... Лешек и думать не мог, что будет в случае этого «иначе». За этим «иначе» стояли смерть и ад.

А перед тем, как подняться на клирос, он столкнулся с Дамианом, который схватил его за подбородок и прошипел:

– Только попробуй что-нибудь сделать не так! Шкуру спущу!

Это не прибавило Лешеку уверенности в своих силах. И к ужасу перед неведомой пропастью добавился отвратительный, унижительный, но вполне осознанный страх: его неудачи никто не простит, даже если он сам захочет искупить ее смертью.

Лытка успел сбегать и посмотреть на князя Златояра, но Лешеку было не до этого. На всех произвело впечатление появление женщин во дворе монастыря – обычно для паломниц служили отдельную службу, в церкви Покрова Святой Богородицы, стоявшей за пределами обители. Но архимандрит дал разрешение на присутствие в летней церкви жены и дочерей князя, и впервые за много лет женщины вошли в храм и поднялись на хоры – место для почетных гостей.

Лешеку было и не до этого тоже. Он сидел на корточках в уголке, спрятавшись за широкими спинами певчих, сжавшись в комок, и дрожал. Чего бы ему стоило спеть хорошо? В этом нет и не может быть ничего страшного! Он так хотел спеть хорошо! Чтобы все это поскорее закончилось! Он чуть не расплакался, представляя себе счастливый воскресный вечер, когда все останется позади!

Паисий сутился, хватался за несколько дел одновременно, хотя все давно подготовил, раздавал последние наставления певчим, переживал из-за свечей (для которых плохо выбелили воск), не глядя гладил Лешека по голове и время от времени повторял: «Ой, ой, ой».

Когда пришло время начинать службу, Лешек еле-еле смог подняться на ноги и встать на положенное место. Кто-то из монахов попытался его успокоить и сказал:

– Не бойся, маленький, все будет хорошо!

Лешек так не считал, но расстрогался не ко времени и чуть не разревелся. Вот бы монах оказался прав! Он взрослый, ему видней, он знает, что говорит! Но что-то подсказывало Лешеку: монах сказал это просто так, он так вовсе не думает, верней – не задумывается. А на самом деле – на самом деле! – ничего хорошего быть не может. И одного желания спеть мало!

Первыми начинали самые низкие голоса, постепенно к ним присоединялись все взрослые певчие, затем вступали мальчишки, а потом хор смолкал, и Лешек должен был петь один – в наступившей тишине его голос звучал необычайно чисто и сильно. И он сам с восторгом слушал себя, и радовался тому, как много людей его слышит и как красиво голос разливается под сводами церкви.

Но, лишь только хор смолк, Лешек с ужасом почувствовал, что не может выдать из себя ни звука. Как будто чья-то рука перехватила ему горло. Он силился издать хотя бы шипение, но голос отказывался ему подчиняться. Он напрягся, покраснел от натуги и услышал ропот по сторонам – пауза затягивалась и стала всем заметна. Из последних сил Лешек попытался выдать из себя по крайней мере что-нибудь, но вместо пения из горла вырвался сиплый отвратительный писк, похожий на «петуха», и был он громким и разнесся на всю церковь.

Наверху рассмеялись девочки – дочери князя, – и их смех подхватили другие гости. Лешек зажал рот руками и в этот миг увидел Дамиана, лицо которого перекошилось от злости: настоятель не стоял на месте, а пробирался к выходу. От стыда и от ужаса Лешек бросился с клироса вниз и, проскользнув вдоль стенки, выбежал из церкви, совсем потеряв голову. Ему не оставалось больше ничего, как утопиться в колодце, чтобы не знать, что будет дальше. Как он сможет посмотреть в глаза Паисию? Что после этого скажет авва? Вся обитель должна теперь проклинать его и плевать в его сторону. Он подвел всех, всех! Он чув-

существовал, что это случится, но он так надеялся! И теперь, когда надежда рухнула и случилось самое страшное, черная пропасть разверзлась у него под ногами и никакого выхода у него не осталось, кроме как умереть, и умереть немедленно, пока он не успел услышать проклятий, пока не успел увидеть их глаз: Паисия, певчих, аввы... Нет, уж лучше ад!

Но утопиться в колодце ему не пришлось – на крыльце церкви цепкая рука Дамиана ухватила его за плечо и с силой сбросила со ступенек вниз. Лешек на секунду показалось, что он уже в аду...

– Ты нарочно это сделал, щенок! – прошипел Дамиан, сбегая по лестнице вслед за упавшим Лешком. Тот онемел от страха, и тогда Дамиан поднял его с земли за шиворот и снова швырнул вперед, так что Лешек вытянулся на дорожке, обдирая ладони и колени. Ему уже стало очень больно, он прижался к земле, не надеясь избежать адских мук, которые ему уготованы.

Дамиан опять поднял его на ноги и опять толкнул на дорожку, еще ближе к приюту – легкий, как перышко, Лешек пролетал две сажени, прежде чем растянуться на земле.

– Не смей! Не смей его трогать! – услышал он сзади срывающийся голос Лытки.

Но Дамиану на Лытку было наплевать, он подхватил Лешка за шиворот, одним ударом кулака сбил Лытку с ног и потащил Лешка к приюту, хотя тот просто повис на его руке и волочился сзади как тряпка.

– Не смей! – снова закричал Лытка, тяжело поднимаясь с земли и держась рукой за окровавленный нос, но Дамиан распахнул двери в приют, вытряхнул Лешка из рубашки и бросил его на пол у входа. Лешек упал ничком, накрыл голову руками и сжался в комок, не в силах ни убежать, ни сопротивляться, ни даже думать, что с ним теперь будет.

Тяжелая плеть низко свистнула в воздухе, и Лешек потерял сознание до того, как она упала ему на спину, – боли он не почувствовал.

Лишь потом он узнал, что Лытка, догнав Дамиана, повис у него на запястье, вцепившись в него обеими руками и зубами. И держал его, пока на помощь не подоспели монахи. Только было поздно – пять ударов плетью разорвали спину Лешка до костей.

Он очнулся в больнице и пожалел, что остался в живых. Впрочем, все вокруг говорили, что долго мучиться ему не придется: уже к вечеру у него началась горячка, а боль стала невыносимой настолько, что Лешек плавал в каком-то странном забытии. Он все видел, все слышал, все понимал, но не шевелился, не двигал глазами и ни о чем не думал. Время бежало быстро, как во сне.

Никакого лечения, кроме крепкого соляного раствора, в монастыре не знали, и на Лешка извели, наверное, годовой запас соли приюта, меняя полотенца каждые два часа. От этого его скручивало судорогой, и он слабо пищал.

К нему приходил Лытка и приносил яблоки, но больничный говорил, что яблок тут полно и Лешек их есть не станет. Лытка не отчаивался, и тогда больничный давил яблоко в ступке и пытался ложкой запихнуть ему в рот сладкую кашицу, но глотать Лешек не мог, и яблоко стекало из уголка рта на подушку.

Лешек видел, что Лытка плачет и у него разбито лицо – одна половина совсем заплыла огромным синяком и красно-синий нос сдвинулся в сторону, – но не мог ничего ему сказать, хотя очень хотел.

– Я убью его, Лешек! Ты слышишь? Я отомщу! Я убью его! – Лытка сжимал кулаки, и рыдания его походили на рык волчонка.

Лешек хотел попросить его не связываться с Дамианом и снова не мог.

Паисий тоже плакал, стоя на коленях перед кроватью, и повторял:

– Прости меня, дитя, прости! Это я, я один во всем виноват!

Но Лешек так вовсе не думал – ему было стыдно, что он подвел иеромонаха. Он хотел попросить прощения, но лицо оставалось неподвижным.

Ему было больно и холодно.

В понедельник вечером семь иеромонахов во главе с аввой собрались у его постели: нараспев читали молитвы и по очереди мазали его елеем. Молились долго, а в конце хотели положить Евангелие ему на голову, но тяжелая книга сползла вниз. И слово «соборовали» почему-то внушило Лешеку ужас.

Во вторник после обеда гости уехали, и тогда больничный послал за колдуном. Тот приехал быстро, во всяком случае Лешеку так показалось. К тому времени его бил озноб – такой, что под ним подрагивала кровать, и судороги случались чаще, чем на его спине меняли полотенца.

Лицо колдуна, заглянувшего ему в глаза, показалось Лешеку ликом смерти, которая пришла за ним, чтобы тащить в ад безо всякого страшного суда. Только ад теперь не пугал его, потому что хуже быть все равно не могло.

– Мальчик умрет, – сказал колдун, осторожно сняв полотенце с его спины, и Лешек равнодушно принял это известие: он смирился с ним и с нетерпением ждал, когда же...

– Пожалуйста... – тихо попросил больничный.

– Я не всесилен. Мальчик умрет еще до рассвета. Я могу только облегчить его страдания. Дай мне чистое полотенце.

Больничный всхлипнул, но полотенце достал. Лешек снова ожидал судорог и слабо выдохнул, когда колдун смочил ткань чем-то коричневым и положил ему на спину, но, к его удивлению, ничего такого не произошло, а через несколько минут боль немного утихла и он впервые смог глотать воду, которую колдун дал ему пососать через соломинку.

– Я мог бы попытаться, – колдун снова заглянул Лешеку в лицо, – но не здесь, у себя.

– Да! Пожалуйста! – Больничный всплеснул руками. – Попытайся. Все что угодно! Сам авва просил за дитя!

– Я ничего не обещаю. Вам надо было позвать меня позавчера, когда лихорадка еще не началась. Иди, доложи кому следует, что ребенка я забираю. И быстрее – дорога каждая минута.

Больничный выбежал за дверь, а колдун склонился над Лешekom и пристально посмотрел ему в глаза.

– Ну что, певун? Ты жить-то хочешь?

Лешек не задумывался над этим, но неожиданно смежил веки и заплакал.

– Тогда поехали, – колдун бережно поднял его на руки и обернул своим плащом. Голова Лешека свешивалась на его спину с широкого, пахшего травой и лошадьёю плеча, и почти совсем не было больно. От тела колдуна шло тепло, теплый плащ тоже согревал, и Лешек подумал, что колдун наверняка забирает его с собой, чтобы съесть. Пусть.

Колдун вынес его во двор и кликнул кого-то из послушников:

– Эй! Подержи-ка мне стремя!

Он гнал лошадь во весь опор, и Лешек смотрел на проплывавшие мимо поля, озеро, лес и думал, что в первый раз уезжает из монастыря так далеко. И ничего страшного в этом не видел. Солнце клонилось к закату, но согревало, и дрожь наконец отступила. И, хотя Лешека сильно подбрасывало вверх с каждым шагом лошади, ему все равно было уютно и хорошо. Его очень давно никто не держал на руках, и оказалось, что это приятно.

– Ты как там? Еще не умер? – спросил колдун.

– Нет, – ответил Лешек, и это было первое слово, которое он произнес за последние двое суток. Колдун похлопал его рукой по задку и засмеялся. Лешек не понял, отчего он смеется, – наверное, от радости, что ему удалось украсть из монастыря ребенка. Но почему-то ему тоже захотелось засмеяться. Боль прошла, он согрелся – осталась только слабость.

– Не бойся, малыш. Ты не умрешь, – тихо пробормотал колдун себе под нос, но Лешек его слышал. И вдруг понял, что колдун не станет его есть. Колдун действительно украл

его, но не для того, чтобы превращать в камень или заразить какой-нибудь болезнью. Он украл его, чтобы никогда больше не возвращать в монастырь, он увозит его от Дамиана, от Леонтия, от всенощных и литургий, от постных ужинов и унижительных наказаний. Он увозит его насовсем и никогда не отдаст авве.

И Лешек разрыдался, громко всхлипывая, и смеялся сквозь слезы, и терся щекой о цветастый кафтан колдуна, и снова плакал, так громко, что колдун придержал лошадь и опустил его перед собой на луку седла.

– Да ладно... – хмыкнул колдун, но Лешек обхватил его шею руками и прижался лицом к его груди, испугавшись вдруг, что колдун захочет отвезти его обратно. Но тот только погладил его волосы – совсем не так, как это делали монахи, а прижимая к себе его голову и слегка стискивая вихры Лешека в кулаке.

– Погоди-ка, – колдун слегка отстранился и посмотрел ему на грудь, – вот что бы я сделал сразу.

Он нащупал у него на шее веревочку с крестом, с силой рванул ее вниз и отшвырнул крест в траву, под ноги лошади.

– Ой! – вскрикнул Лешек.

– Что? Больно?

– Нет. Но теперь... теперь он точно убьет меня молнией, – прошептал Лешек, но страха не почувствовал.

– Ерунда, – ответил колдун. – Юга убил не всех богов на небе. Там найдется, кому за тебя заступиться.

Он снова поднял Лешека повыше и погнал лошадь вперед.

8

От печи на полати поднимался жар, и Лешек заснул еще до того, как успел доестъ хлеб, сжимая кусок обеими руками.

Разбудили его сильные руки хозяина, трясущие его за оба плеча.

– Ну! Давай же, просыпайся.

Лешек вскочил и треснулся головой о балку, нависавшую над печью.

– Быстрей, – хозяин ловко прыгнул с полатей, – они стучат в ворота.

Лешек прыгнул вниз вслед за ним.

– Дедушку подняли? – хозяин заглянул за угол печи.

Неподвижного старика двое мальчиков осторожно пересаживали на пол – он улыбался, морщил лицо и что-то шептал.

– В сундук полезай, – велел хозяин Лешеку, – ребята дырку проковыряли, пока ты спал, теперь не задохнешься.

Лешек, спросонья не очень хорошо соображая, повиновался. Сверху на него кинули его полушубок, шапку и сапоги, а потом накрыли подушками и множеством сложенного белья – не иначе, приданым дочерей.

– Ну, теперь главное, чтобы копьём не ткнули, – выдохнул хозяин и захлопнул тяжелую крышку.

В сундуке было пыльно, душно и жарко. Лешек слышал, как сверху уложили старика, который шутил и посмеивался над своими шутками. Впрочем, ребяташки смеялись вместе с ним. Лешек прижался губами к еле заметной дырочке, но быстро отказался от такого способа дышать – это могли услышать снаружи.

Тяжелый топот монахов ни с чем нельзя было перепутать. Сколько их вошло в дом, Лешек сосчитать не смог, но не меньше троих.

– Это что за погань у тебя? – спросил монах, и Лешек услышал глухой удар куда-то вверх.

– Так... отец дом строил, – ответил хозяин, – давно еще.

– Срежь.

– Как скажешь.

– Развели тут бесовщину. Почему иконы нет в красном углу?

– Чтоб не запылилась. Вот, в полотенце завернута.

– Чтоб не запылилась, протирать надо чаще. Ладно, не за тем пришли. Всех, и малых и старых, сажай на лавку вот сюда. Если кого найду, живы не будут, понял?

– Так дедушка у нас... Немочный, не встает уж два года как.

– Дедушку поднимай тоже. Сказал – всех.

– Как скажешь.

От духоты потихоньку плыла голова, а сердце, напротив, стучало в груди тяжело и громко. Он слышал, как семья рассаживается на лавках, как с сундука снова поднимают дедушку, как топают монахи, заглядывая во все углы и проверяя копьями темные места, куда не дотягивались руки.

– Авда! – крикнул кто-то, выглянув в дверь на улицу. – Иди смотри.

Брат Авда. Лешек его запомнил, и тот тоже наверняка запомнил Лешека. Да, хорошо, что он не предложил притвориться старшим сыном хозяина, – его бы все равно узнали.

Крышка сундука над ним распахнулась, стукнувшись о печку; Лешек задержал дыхание: казалось, что белье подпрыгивает над ним от слишком сильных ударов сердца.

– Дяденька! Не порть моего приданого! – вдруг услышал он отчаянный девичий крик. – Я его пять лет вышивала, и пряла, и ткала сама!

Лешек зажмурился: наверняка монах собирался проткнуть белье копьем. Насквозь бы все равно с первого раза не проколол – не такие острые у них копыя. Но почувствовать под тканью тело мог бы. Монах громко хмыкнул и начал рыться в вещах руками, дошел до подушек, но поднимать их поленился и воткнул-таки копые в середину сундука. Девушка жалобно вскрикнула, но копые прошло в полувершке от поясницы Лешека, зацепив на нем рубаху. Он чуть не дернулся от испуга, а монах то ли пожалел девушку, то ли охладел к этому делу, кой-как примял белье ладонями и опустил крышку, которая, впрочем, не закрылась.

Авда долго не приходил, и вся семья сидела молча: Лешек слышал их тяжелые вздохи, и сопение малых, и скрип лавки под непоседливыми старшими.

– Ищите лучше! – раздался голос с крыльца. – Он здесь, его кто-то прячет. Везде ищите, и в выгребных ямах, и в колодцах!

Дверь захлопнулась, и по дому протопали тяжелые шаги.

– Кто хозяин? – рывкнул брат Авда, хотя мог бы догадаться и без вопросов.

– Ну, я хозяин, – с достоинством ответил крестьянин и поднялся – под ним заскрипели половицы.

– Если найду его у тебя сам, всех под батоги положу, и старых и малых. А ты мне его отдашь – получишь два мешка пшеницы, а на будущий год заплатишь только из четверти снопа.

Лешек сжал губы: два мешка пшеницы – и то очень высокая для крестьянина плата, а четверть снопа – вполовину меньше того, что монастырь собирал с крестьян за пользование земель. Слишком большой риск с одной стороны и слишком богатая плата – с другой. Если бы хозяин не устоял, Лешек простил бы его за это...

– Рад бы отдать, так ведь нету у меня никого, – ответил хозяин, недолго раздумывая.

– Смотри... – протянул Авда.

Монахи ушли нескоро, обыскав каждую пядь дома и двора: Лешек думал, что задохнется. Но как только за монахами задвинули засов на воротах и накрепко заперли дверь, ребята тут же кинулись разрывать над ним белье и вытаскивать подушки.

– Ну что? Что? – услышал Лешек голос старшей дочери. – Живой?

Лешек глубоко вдохнул, отчего сразу побежала голова, и ответил:

– Все хорошо.

– А копые? Не ранен?

– Если бы монах его ранил, то заметил бы, – солидно сообщил ее брат.

Лешека вытащили на свет несколько рук и отряхнули с него пух, налетевший с проткнутой подушки.

– Да все хорошо, ребята, – растроганно улыбнулся он, – я сам.

– В рубашке родился, – покачал головой хозяин. – Ну, теперь за стол. Они не скоро еще появятся.

Но не прошло и часа, как раздался настойчивый стук в дверь. Семья еще сидела за столом, и Лешек увидел, как побледнели их лица, как забежали по сторонам черные глаза хозяйина, как прижала руку ко рту его старшая дочь...

– В печку! Быстро! – прошипел хозяин Лешеку, и тот не заставил себя ждать. Хозяйка, ухватив заслонку тряпкой (чтобы не звякнула) откинула ее в сторону, пропуская Лешека внутрь.

Печь хранила жар, сильный и сухой – наверняка топили ее рано утром. Лешек прикрыл лицо руками, чтобы его не обжечь, и скукожился, стараясь не прикасаться к горячему камню.

– Чего ты испугался, Щука? Не монахи это, соседи, – из печки слышно было гораздо лучше, чем из сундука.

– Заходите, – не очень довольный ответил хозяин, – к столу садитесь. Обедаем мы.

– Не жадничай, не объедем. Мы по делу пришли, ну и посоветоваться, так что долго не засидимся.

Лешек, слушая их длинные взаимные приветствия, подумал, что пока они будут ходить вокруг да около своего дела, он испечется тут, как каравай. По вискам побежал пот, и рубаха на спине быстро намочла. Хорошо хоть воздуха вполне хватало – дымовая дыра находилось прямо над топкой.

– Вот скажи, нравится тебе, Щука, когда по три раза на дню твой дом перерывают сверху донизу? – наконец перешел к делу гость.

– Да вы ж знаете, мужики.

– А когда малым деткам батогами грозят? Мы тут подумали: мы им пока не холопы, чтобы батогами нас страшить. Половину урожая честно отдаем.

– И нечего им тут рыться! У моей Заславы все подушки по ветру развеяли, все приданое перепортили. Девка пух по щепотке собирала, теперь рыдает, мать успокоить не может.

Лешек зажмурил глаза: это все из-за него. Люди жили и никому зла не делали... Почему-то девушек и их подушек ему стало очень жаль.

– И что вы предлагаете? – спросил хозяин, выслушав еще с пяток рассказов о бесчинствах монахов: о гусях, которым свернули шеи, о разоренных курятниках, разбитой посуде, намоченном сене, – самим найти этого беглого монаха?

– Знаешь, Щука, что я тебе скажу? Если бы этот парень у меня оказался, я ни за что бы его не выдал.

Хозяин промолчал.

– Мы другое предлагаем. Собраться всем вместе да указать уже чернецам дорогу отсюда. Пусть в другом месте поищут, а нас не трогают. Их тут десятка три, наверное, а нас в три раза больше. У них копыа, а у нас – топоры.

Неожиданно с сундука им ответил дедушка:

– Не дело вы задумали. Это здесь их десятка три. А в монастыре? А по скитам? Сейчас зима, куда мы с малыми детишками денемся?

– Не отстанут они, пока этого беглого не найдут, – подумав, сказал хозяин. – Поле кругом, каждый след издадека виден.

– И что? Ждать, пока найдут? Ведь найдут же, рано или поздно.

– Меня, старого, послушайте, – вставил дедушка. – Чернецов припугнуть, конечно, надо. Им тоже мужичье с топорами не в радость будет. А чтобы беглый уйти смог, ему надо дать к реке дорогу. На льду следов много. Они, небось, дозоры с нее сняли, все здесь осели и выходы на лед стерегут.

– И далеко он уйдет, по реке-то?

– А не надо по реке идти. Надо через лес напрямки идти к охотникам, в Покровскую слободу. Зимой туда от монастыря конным хода нет, только вокруг.

– Да ты, дедушка, понимаешь, что говоришь? Да промахнуться мимо Покровской нет ничего проще, а плутать потом в лесу можно месяц!

– Знаю я одну примету, как туда попасть. Десять лет назад торфяник горел, узкой полосой выгорел. А у слободы канаву вырыли и пожар остановили. Так что выйти на нее не так и трудно, надо только полосу эту найти. От реки на восток верст пятнадцать до нее. И еще верст шесть-семь по ней до Покровской. От света до света можно дойти, если ногами быстро перебирать.

– Ну а на реку как выйти? Тоже придумал?

– Нет пока. Но придумаю, – уверенно ответил старик. – Надо, чтобы много людей туда сразу пошли, и не просто так, а разбрелись бы, да наследили хорошенько, да монахов отвлекли. И не днем – к вечеру, как солнце сядет.

– Эх, жаль, сегодня не успеем. Вечереет уже, – расстроился один из гостей.

– Ничего, до завтра как-нибудь продержимся, – сказал второй, – может, лошадь припугнуть да на реку пустить, ну, вроде как понесла... И ловить ее потом... всем миром.

– Монахи же не дураки, – возразил хозяин. – Понятно, что лошадь побегает и домой вернется, к кормушке.

Лешек слушал с замиранием сердца и обливался потом. Они ведь его совсем не знают! Они его даже никогда не видели! И готовы с риском для себя, всем миром помочь ему уйти от монахов. За что? Почему? От жары кружилась голова, и его покачивало из стороны в сторону – он очень боялся вывалиться наружу, не удержав равновесия.

Собственно, это с ним и случилось, как только за гостями закрылась дверь. И, наверное, вид у него при этом был презабавный, потому что дети, включая малых, сначала захихикали в ладошки, а потом не выдержали и расхохотались.

– Заодно и попарился, – усмехнулся в бороду хозяин, и Лешек тоже рассмеялся, посмотрев на перепачканные сажей руки. Наверняка и лицо у него тоже было в черных разводах, если этими руками он размазывал по лицу пот.

Хозяйка раздела его донага, развесила вещи сушиться и, поставив ногами в большое корыто, окатила теплой водой из ведра, смывая сажу и пот.

Лешеку пришлось до темноты рассказывать всей семье о своих приключениях, и о монастырской жизни, и о колдуне, убитом монахами. Слушали его внимательно, перебивали, задавали вопросы и смотрели на него во все глаза. А больше других спрашивал дедушка Вакей, неподвижно лежавший на сундуке. Лешек успел познакомиться со всеми и решил, что как только вырвется на свободу, сочинит песню об этих замечательных людях: веселых, бесстрашных, трудолюбивых. Напрасно авва считает их «черной костью», напрасно Дамиан презирает их темноту. Не темнота, а волшебная мудрость, унаследованная от далеких пращуров, хранится в их сердцах. Та самая волшебная мудрость, что позволила колдуну создать хрусталь, та самая, что заставляет богов выполнять их просьбы, та, что хранит и оберегает их очаг.

– Во, погляди! – хозяин поднял голову и указал Лешеку на тяжелую балку в центре потолка, – копьём в громовый знак тыкал! Поганью называл. А такой знак еще у моего прапрадеда над головой висел. Заставят срезать – снова вырежу, как уйдут.

Лешек пел им песни: тихонько, вполголоса. А на ночь, когда топили печь и едкий дым витал по темному дому, освещенному пламенем из огромной топки, дедушка рассказывал внукам сказки – длинные, тягучие, как зимняя ночь, немного страшные, и Лешек сам заслушался, и сердце его замирало, как у ребенка, в предвкушении счастливого конца и в надежде на него.

Внуки любили деда, любили искренне и трепетно, несмотря на то, что неподвижный старик для семьи был тяжелой обузой. Выяснилось, что он совсем нестарый и приходится отцом хозяйке, а не хозяину. Лешек тихонько расспросил Голубу, старшую дочь, которая нашла его в хлеву, отчего дедушка не ходит.

– Дедушку медведь поломал, давно, два года назад. Хребет переломил в трех местах. А дедушка вот жив остался. Только ни руками, ни ногами шевелить не может.

Монахи приходили дважды за ночь, дождавшись, пока в домах протопят печи. И теперь Лешека прятали не в сундуке: хозяин приготовил ему местечко получше, разобрав пол, – худенький Лешек легко поместился между двумя настилами, полом дома и потолком подклета. И очень вовремя, потому что монахи, освещая каждый уголок факелами, нашли дырочку в стенке сундука и на этот раз выбросили из него все, до самого дна.

Лешек думал о старике всю ночь и к утру решил: он должен хотя бы попробовать. Эти люди рисковали жизнью детей, спасая его от монахов. Он должен попробовать. Колдун создал хрусталь именно для этого, и Лешек много раз видел, как это делается. Так почему бы не попытаться самому? Всего-то и нужно, чтобы взошло солнце.

* * *

Дом колдуна, снаружи маленький и невзрачный, стоял к северу от монастыря и монастырским землям не принадлежал – на пути к нему лежало болото, непроходимое весной и осенью, и только летом оно пересыхало настолько, чтобы можно было найти тропу. Маленькая речушка Узица, на берегу которой он стоял, тоже местами была заболочена, и на лодке по ней никто не ходил. Зимой же река становилась доро́гой, и от дома колдуна путь открывался не только на север, но и на юг.

Когда колдун привез его к себе, Лешеку стало хуже: боль опять начала грызть спину, появилась тошнота и озноб – солнце садилось и не давало тепла. Он не смог как следует осмотреться, да и любопытства никакого не испытал.

Колдун небрежно бросил поводья на коновязь, взбежал на высокое крыльцо и крикнул: – Матушка! Иди в дом, ты мне нужна!

И, не дожидаясь ответа, понес Лешека внутрь. Изнутри дом был гораздо больше, чем казался снаружи, и почти все пространство в нем занимала светелка: в ней и спали, и ели, и готовили еду, и, судя по всему, пряли. Но за светелкой находилось еще две комнаты – Лешек увидел двери, ведущие в них. Светлые решетчатые окна – такие же, как у Паисия в келье, – как и пышные подушки на кроватях, прикрывались кружевными белыми занавесками, на столе лежала вышитая скатерть, с многочисленных полок свешивались полотенца, и вокруг было чисто, как в приюте перед приездом архимандрита. Лешек так давно не видел столько занавесей, полотенец и скатертей, что невольно хлопал глазами, глядя по сторонам: в монастыре ели на голых столах.

Колдун уложил его на широкую мягкую кровать, откинув в сторону стеганое одеяло, и Лешек глубоко провалился в перину. На такой кровати он не лежал никогда в жизни – в приюте, как и во всей обители, на доски клали тонкие соломенные тюфяки.

– Матушка, готовь полотенца, – колдун оглянулся, услышав шаги за спиной, и Лешек тоже посмотрел на входную дверь: в дом вошла маленькая чистенькая старушка с белой головой, белым мягким лицом и белыми пухлыми руками. Рукава ее рубашки были закатаны до локтя, а на грудь надет красный передник с вышивкой. Она глянула на Лешека с любопытством, но не подошла к нему, а сразу направилась в одну из комнат, мелко семеня по высокوبленному добела полу.

– Посмотри, – окликнул ее колдун, когда она вернулась в светелку, и снял со спины Лешека полотенце, – только посмотри, что они сотворили с мальчишкой...

Старушка, сложив полотенца на подушку, приложила руку ко рту и покачала головой:

– Ай, детонька... А маленький-то какой.

Лешек подумал, что он уже не маленький, но говорить ему совсем не хотелось.

– Это тот самый певун, про которого я рассказывал, – колдун нагнулся к нему и на этот раз внимательно осмотрел его раны, нажимая на них пальцами, отчего Лешек морщился и пищал. – Не пищи, ты же мужчина. Ничего страшного я не делаю, только смотрю.

Лешек был с ним согласен и постарался покрепче сжать губы.

– Скоро взойдет луна, и все пройдет. Придется зашивать, не оставлять же тебе такие страшные шрамы – девушки любить не будут.

Про любовь девушек Лешек не думал никогда, в монастыре об этом говорили совсем по-другому, и ему стало весело от этих слов колдуна.

Колдун накрыл ему спину смоченным в лекарстве полотенцем, а потом еще и теплым стеганым одеялом. Матушка тем временем зажигала многочисленные свечи, расставленные в разных углах кухни. Столько свечей в монастыре зажигали только в церквах.

– Как тебя зовут? – спросил колдун, доставая с полки какой-то кувшинчик с узким горлом.

– Лешек.

– И сколько тебе лет, певун?

– Двенадцать.

– Да ты врешь! – колдун рассмеялся.

– Нет, – Лешек обиделся.

– Да ладно... – хмыкнул колдун, – глотни-ка немного. Только немного.

Он поднес к губам Лешека горлышко кувшина – жидкость в нем оказалась горькой, обжигающей и чем-то напоминала кагор.

– Что морщишься? Противно?

– Ага.

– Ничего. Все пройдет, малыш... Лешек. Наверное, Олег... Матушка, посиди с ним. Пить давай, как попросит. Но пока только воды, а завтра посмотрим. Говорить ему тяжело, так что не расспрашивай, успеем еще. Сказку ему расскажи. А я пойду, попрошу себе ясного неба.

Колдун поднялся с кровати, потрепав Лешека по волосам, и открыл сундук, стоявший у большой каменной печки. Лешеку было интересно, как он будет просить себе безоблачного неба: неужели станет молиться? Он не представлял себе колдуна стоящим на коленях перед иконой, да и икон в светелке не приметил.

Но колдун достал из сундука медвежью шкуру, с головой и огромными когтями, снял кафтан и остался в простой рубахе, на которую надел пояс с множеством непонятных звенящих предметов.

– Смотри, парень, – сказал он Лешеку, накидывая на себе шкуру, – этого медведя я взял сам, в одиночку.

Лешек никогда не видел живого медведя, но мог вообразить, как это было непросто. И если колдун может справиться с таким большим зверем, то, наверное, бояться с ним нечего. Шкура застегивалась на множество мелких крючков, и колдун оказался одетым в нее, как в шубу, открытыми оставались только кисти рук и ноги до колена – сапоги колдун тоже снял и остался босиком. Медвежья голова с открытой пастью, откинута ему на спину, казалась странной и зловещей. Он снял с полки другой кувшин, побольше, и сделал несколько глотков прямо из горлышка; достал из сундука странный предмет – деревянное кольцо с натянутой на него тонкой кожей – и шлепнул по нему ладошкой. Раздался гудящий звук и перезвон мелких колокольцев, прикрепленных к деревянному кольцу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.